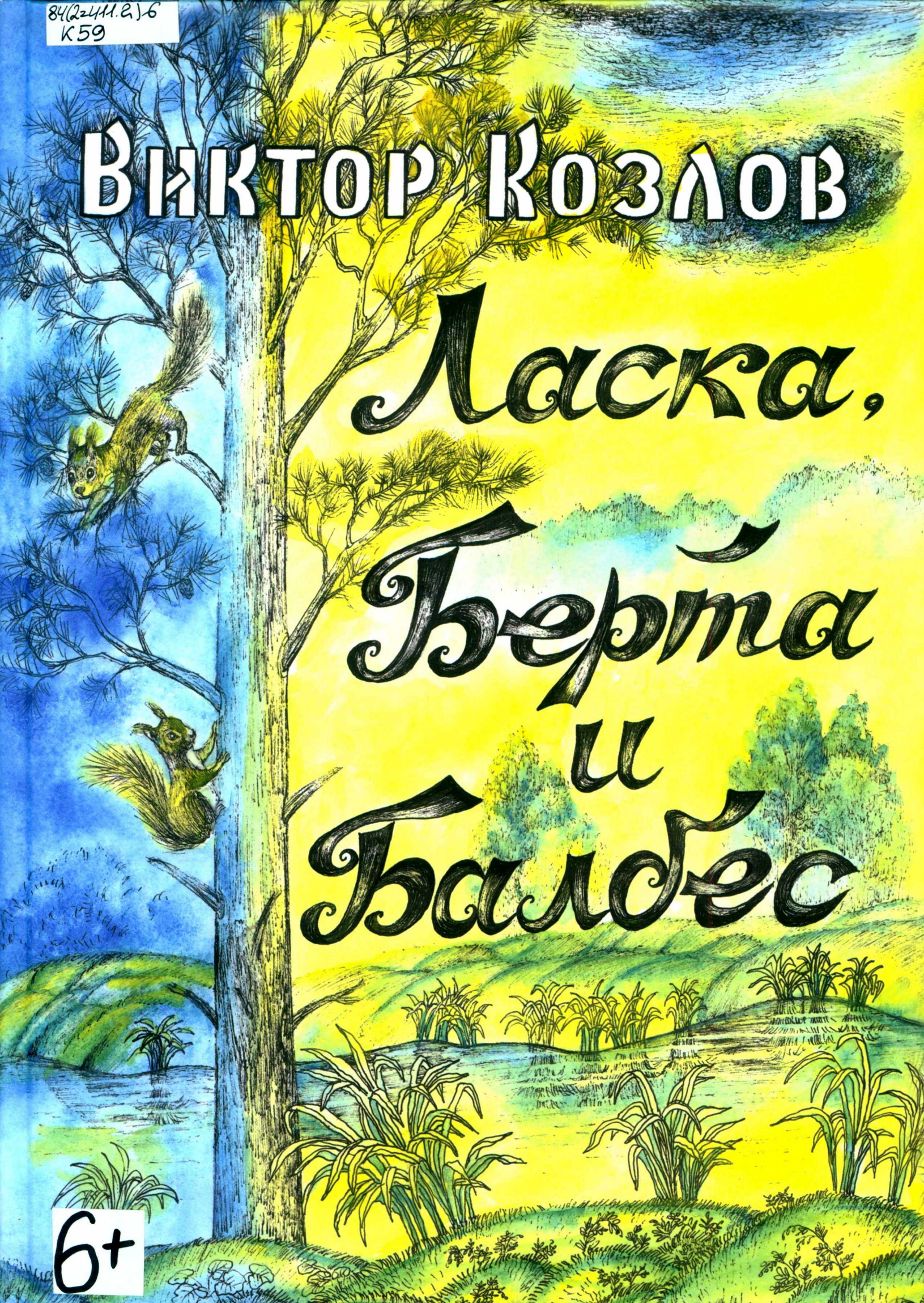


84(22411.2).6
K59

ВИКТОР КОЗЛОВ

Ласка,
Терта
и
Балдес

6+



**КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ**
указанного здесь срока

03 p

Вы можете продлить книгу:
<http://www.megionlib.ru>

Дорогой читатель!
Эта книга, если ты ее прочитаешь,
поможет тебе понять, как жила
в нашей стране в послевоенное время
автора этой книги. Думаю, что ты
поймешь, что жизнь, природа, семья,
четвероше друзей дарят радость во
все времена тем, кто неравнодушен к ним
добр и радушен.

Е. М. Степанова

6+

УДК

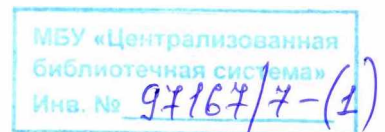
Г. 84/а-711/а/в
К 59

Виктор Козлов

Ласка, Берта и Балбес

рис. Е. Степановой

Тюмень
2018



ББК 84(2Рос=Рус)6-4

К 59

Козлов В.Н.

К 59 Ласка, Берта и Балбес : Детские рассказы : Для мл. и ср. шк. возраста / Виктор Козлов ; рис. Е. Степановой. – издательство : АО «Тюменский дом печати», 2018. – 124 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-87591-289-4

Автор книги, член Союза писателей России, мегионский поэт и прозаик Виктор Николаевич Козлов, автор семнадцати книг для детей и взрослых. «Ласка, Берта и Балбес» – четвертая книга писателя для детей.

Деревенский послевоенный быт внимательными глазами ребёнка. Щедрость природы Южного Урала. Сибирский простор. Незатейливые истории, жанровые сценки, повадки животных и птиц. И доброта и усмешливая мудрость нашего народа. Всё это можно найти в представленной книге.

Для детей младшего и среднего школьного возраста

Книга издана при финансовой поддержке Правительства Тюменской области

ISBN 978-5-87591-289-4

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© В.Н. Козлов

© Е.М. Степанова

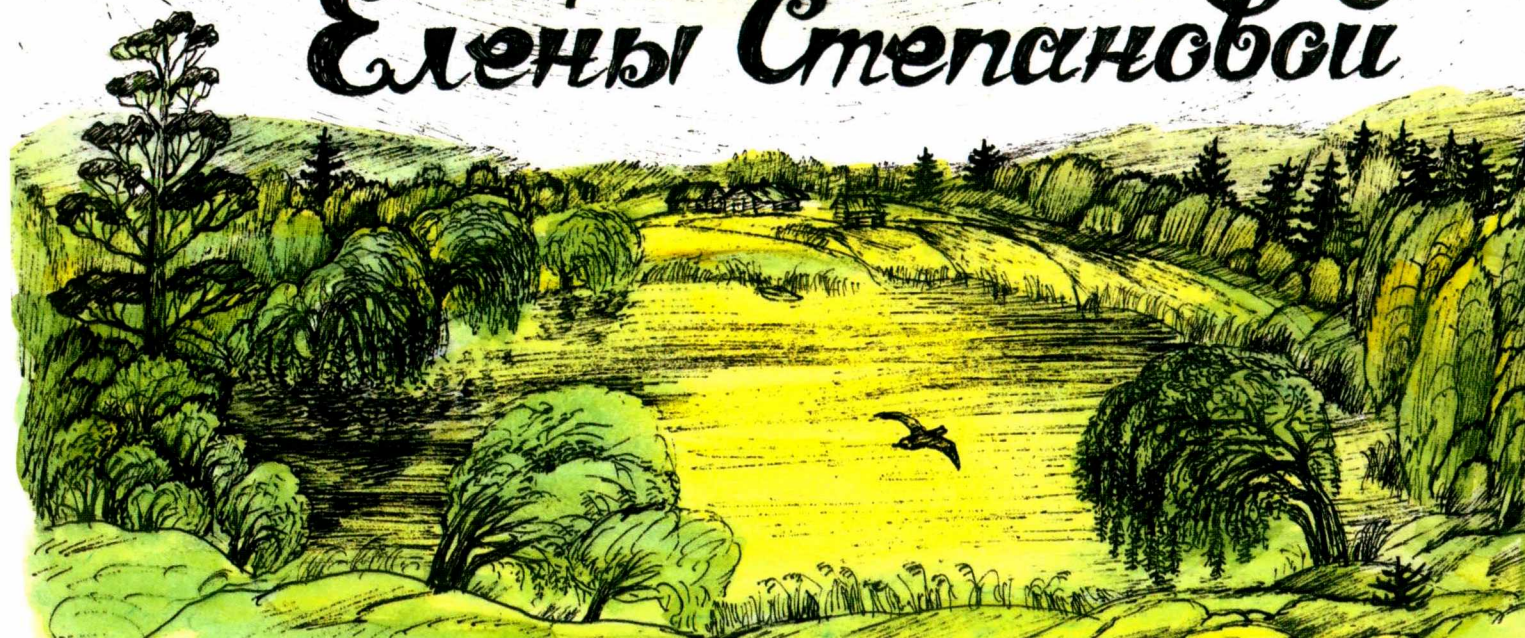
© АО «Тюменский дом печати»

ВИКТОР КОЗЛОВ

Детские рассказы

Маска, Буртас
и
Балбес

рисунки
Елены Степановой



Чернушка

Вскоре после празднования первого дня Победы, мать распродала всё по дешёвке и увезла нас, двух братьев, двух сестёр, возрастом от четырёх до шестнадцати, из Косихи, что на Алтае, к себе на родину – в Башкирию, в деревню Малышовку: к своей родне!

Пока тепло было, мы жили у тёти Маши: обедали на улице, спали – кто на полу в тесной избёнке, кто на повети... Ближе к осени мать сняла пол-избы у загадочной Лизочки – загадочной, потому что я так ни разу её и не увидел. Позже, когда была денежная реформа, с которой совпала её смерть, был слух, что после Лизочки осталась целая перина старых красненьких тридцаток, и это ещё больше прибавило таинственности нашей бывшей домовладелице.

Лизочкин дом стоял на самом краю деревни Красноярки. Красноярку и Малышовку разделял выгон, казавшийся тогда широким, хотя на самом деле между деревнями было не более версты; с запада выгон упирался в урёму (пойму Зилима, заросшую черемухой, ветлой, ивняком и редкими могучими вязами); с востока выгон был чуть приболочен, кустился бересклетом, красноталом, боярышником и постепенно переходил в дремучий смешанный лес.

Всё было новым для меня в этой Башкирии, на мамкиной родине: природа, дома, люди, одежда – всё, не как в Косихе! И это мне очень не нравилось: я испытывал тяжёлый душевный дискомфорт. Даже речь, даже слова, даже названия здешние не сходились с привычными. Тётя Маша, как и её три дочери, мои сродные сёстры, не «говорили», а «баяли». Вместо «наверное» или «может быть» говорили «чай»: «Ты, чай, устал, охлонись маненько...». «Пимы» здесь называли «валенками»... Вместо ботинок носили лапти из лыка... «Улицы» именовали «порядками»... С улицы домой закликали ребят как-то по-петушиному: «Ви-итькю-у-у! Ва-а-нькю-у-у! И-и-исти айда!»

В Малышовке один порядок, а вернее, односторонняя улица, домов двенадцать шли по правому берегу Речки (ручья, по сути), на левом берегу был разбросано домов пяток, а между ними – небольшой конный двор, выходивший задами на выгон. С севера на юг, вдоль дороги Ирныкши – Красноярка – Красный Зилим, располагался второй порядок – короткой, широкой улицей, которая через речку, за мост, не осмелилась: на той стороне, справа от дороги, напротив конного двора, стояла неприкаянно одна изба, остальные левосторонние избы располагались ближе к лесу.

Красноярка была больше Малышовки на «порядок»: на одну улицу, в конце которой и располагался Лизочкин дом. С другой стороны наша улица обрывалась у излучины Зилима, речки быстрой и по многоводью не уступавшей косихинской Лосихе, что я, объективности ради, вынужден был признать. Слева, на перекрёстке нашего порядка и дороги в Красный Зилим, в тополиной ограде располагалась одноэтажная, в виде буквы «П», школа начальная, называвшаяся

почему-то Покровской, а слева – правление колхоза, в нём же – лавка (вот снова: в Косихе «магазин», а тут – «лавка»! «Садитесь», пожалуйста!).

Кроме Зилима нравились мне и постоянно притягивали взор волнистые, в переменчивой сизо-лиловой голубизне зазилимские дали и особенно кудреватоплюшевый силуэт Куян-тау, пологая вершина которой в ненастье скрывалась в серых тучах. Много, если уж честно говорить, нравилось на маминой родине: поля золотистой ржи в васильках – там можно было прятаться от людей и всех напастей; березняки, а осенью – светло-солнечные даже в сумерки липняки...

Лизочкин дом был пятистенный, на двух хозяев. В наружной, окольной половине поселились мы, а в другой, со времён войны, жили «вакуированные», как их звали, – школьная уборщица тётя Марта с сыном, моим ровесником, то ли Артуром, то ли Робертом. Она – высокая, толстая, волосы цвета конопляной кудели уложены в рогатую причёску, ходит в клетчатой юбке и полосатых шерстяных чулках; сын – крупный, упитанный, чуть не на голову выше меня, светлые, водянистые глаза навывкате. Меж собой разговаривали они совсем по-чуждому: непонятно, только отдельные слова на что-то похожи и то часто на срамные. Столкнувшись с соседями в первый раз, я сразу же понял, что отношения дружеские у меня с этим парнем не сложатся. Я был замкнут, молчалив, с людьми сходил только после длительного приглядывания и притирки: в это время в моих мальчишеских мозгах шла большая аналитическая работа, проигрывались различные варианты последствий, к которым приведёт знакомство с новым человеком, окажется ли крепкой наша дружба – я, если решался дружить, бросался в эту дружбу со всей открытостью, доверчивостью, отдавался ей с ревнивой страстью, и страшно переживал, если ошибался в своих друзьях: я не прощал малейшей измены. Поэтому мне было легче вести внутренние диалоги с самим собой, чем страдать от друзей – предателей. У меня на этот счёт был не только косихинский, но и малышовский мало-мальский опыт. Моё внутреннее «я» было всегда начеку, чутко реагировало на внешние проявления человеческого, чаще враждебного, как мне казалось, мира. И взглянув в равнодушные по-рыбьи его глаза, я предугадал наши отношения с Робертом (то ли Артуром...)

Когда мать с дядей Петей, мужем тёти Маши, привели из Каранова, с «ярманки», как говорили тогда местные, крупную, шелковисто-чёрную, с белым подбрюшьем и звёздочкой во лбу, корову Чернушку, судьба моя на ближайшее время была решена. «В стадо отдавать нельзя: может уйтить домой. Да и стадо не примет: запыряют! Опять же с пастухом рассчитывать. Ни два, ни полтора... – рассуждал дядя Петя, обычно землисто-серый после фронтовой надсады, а тут, после магарыча, краснорожий. – Ниче: вон у тя какие гвардейцы, попасут на выгоне. Токо по первости – на вожжах... На вожжах, а то уйдёт – пося ищи свищи! Ушлый народ есть: оприходует! Ну ярар! – стал прощаться дядя Петя. – А то чужа изба засядчива! Насчёт сруба, кума, советую: покупай! По зиме перевезём, весной рядышком с нами поставим, а уж остальное, по-свойски, за магарыч, я к лету сделаю! А коровник – сами».



На ужин в этот день у нас было парное молоко.

Мать радостным, ломким голосом рассказывала: «Хорошо подоилась Чернушка, всё молоко отдала, не затаилась... Слава тебе, Господи! А я уж расперевивалась: а как затаится? Не даст молока и всё! Али подойник будет бить? Всяко бывает! И удоиная ведь: после такого треволнения... Они ведь всё понимают, думаете – нет? Понимают, хоть и бессловесные... Вот... Дорога, опять же: клок травки урвала да глоток воды в Зилиме испила... А ведь вот: цельный подойник! Слава тебе, Господи, услышал сиротские молитвы... Завтра, Витенька, попастьи её надо хорошенько. На выгоне-то овечки траву, словно бритвой, поди, свели. На луга бы, на отаву ее».

Ещё летом, когда мы жили у тёти Маши в Малышовке, издалека, молчком, тихой сапой или скорее явочным порядком, подружился я с Санькой, белоголовым пастушком: пас он на выгоне стадо ягнят, овец, коз, телят (коровье стадо с подтёлками и нетелями пас другой пастух на дальних неугодьях, в подлесках и лесных опушках).

Моему старшему брату Вовке было тринадцать, и он собирался учиться в Краснозалимской семилетке. Санька был постарше брата, жил он с дедом – бобылём на противоположном от нас конце деревни, у самой урёмы. Что такое «бобыль» я не знал, но догадывался, что это и есть человек вроде Санькиного деда: старенький, сухой, седоголовый, живт на отшибе, без бабьего догляду, ездит на долблёнке и ставит на старице морды и вентера.

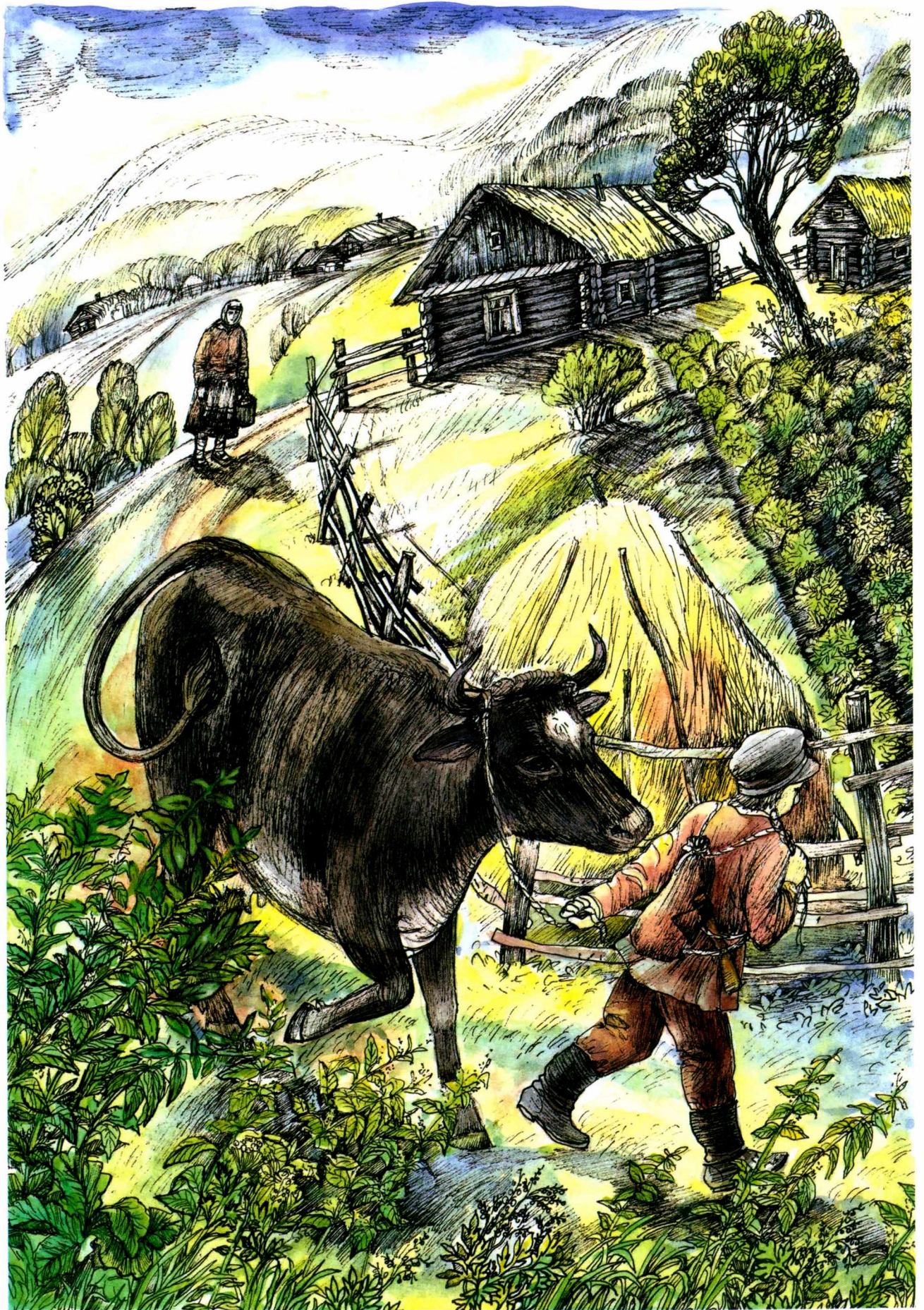
Летом в Малышовке днём никого не оставалось: в колхозе работали люди. С деревенскими ребятами своего возраста я не сошёлся: немного и было их, по правде, да и заняты они были своими привычными какими-то делами, поэтому я с самого приезда осваивал окружающий мир в грустном одиночестве, бывало, что и всплакивал, лёжа во ржи на спине и глядя на высокие облака, медленно плывущие в бездонной голубизне неба: жалел погибшего на войне папку, Косиху и своих друзей – Пашку Гречнева, Витьку Соколова... Но больше всего – папку... Ведь если бы он пришёл с войны, то и остальных бед не было бы: жили бы мы в Косихе и радовались жизни. Иногда я засыпал или что-то меня отвлекало от горестных мыслей: то жаворонок, то васильки, которыми была засорена рожь, а то и просто шорох остистых голубовато-зелёных колосьев. Да и сама земля, из которой росли ржаные или васильковые стебли, привлекала внимание: сухая, растрескавшаяся, а гляди ж ты – вон какая рожь выколосилась! А повилика – совсем зелёная...

Неширокая пойма Речки даже в самой Малышовке поросла лозником и широкими, раскидистыми вётлами, а выше деревни она расходилась пологими логами, на склонах которых возвышались над подлеском огромные, корявые понизу берёзы. Были среди них наклонные, лироподобные, почти стелющиеся по земле с вертикальными стволами-сучьями, надломленные, видимо в раннем возрасте, да так и не оправившиеся. Среди этих берёз я тоже проводил много времени, свивая на пологих ветвях гнёзда.

Брат и старшая сестра с матерью работали в колхозе, младшая сестра-малышка крутилась возле болевшей тёти Маши, играла с соседскими девчушками. А я, если мне надоедало одиночество, шёл на выгон – к Саньке, садился где-нибудь в стороне, и строгал лутошку. Постепенно дистанция стала уменьшаться, и стал подходить к нему совсем близко, а когда стадо в жару располагалось в тени трёх исполинских берёз, троеперстно исходивших, как из ладони, от общего корня, присаживался к нему на овчинку, служившую ему и подстилкой и укрытием в ненастье. «Утэр, кунак, – говорил он, скаля в улыбке молодые зубы, – и добавлял ещё несколько башкирских срамных слов: это я уже знал. Он чуть отодвигался, уступая мне место. – Сивый ты и белобрысый! – говорил он, запуская в мои выгоревшие волосы пятерню, легонько теребя. – Те чо, у тебя волос густ да прям, а вот мне – прям бяда: не то, что гребень, пятерня не лезет в мою куделю! Воши замаяли...» – и он сердито дёргал себя за густые, мелкокудрые ржаной соломы волосы. Он часто делился со мной немудрёной едой, которой, по обычаю, в свой черёд, снабжали пастухов хозяйки: сначала, пораньше, после дойки, коровьего пастуха, позднее овечье-телячьего. Бутылка молока, краюшка хлеба, картошка в мундире, соль – обязательный набор. В середине лета меню разнообразилось: пучок лука, огурчиков пара, морковка, реже – яйцо, блины, пирога кусок... Мясa, масла не бывало.

Санька научил меня делать из ивы и липы свистки на разные голоса. Выбирать ровные молодые липки, обдирать с них лыко; во время сокодвижения, стоило сделать аккуратный продольный надрез и разъять кору руками в два-три прохода, и лутошка выскакивала из своей одёжки: белая, осклизлая – поскребёшь ножиком, слизнёшь студенистую массу – вкусно! Полежит лутошка на воздухе, обсохнет, станет жёлтой, как свечка, и такой же мягкой. Пытался Санька научить меня плести лапти, но не смог. Зато очищать лыко от наружного слоя и резать его на узенькие длинные ремешки я смог и стал вить впрок верёвки и верёвочки разного диаметра и длины из двух и трёх прядей, четыре и шесть – оказались мне не по силам. С помощью Саньки сплёл я трёхколенный кнут, из дубового сучка вырезал рукоятку, изукрасил её подобием резьбы, прожёт раскалённым гвоздём отверстие под петельку и, просунув в неё руку, небрежно таскал кнут за собой. Эх, если бы ещё научиться свистеть, как Санька, сунув пальцы в рот, да ещё оглушительно щёлкать кнутом! Занятная штука – кнут! Санька – что хочешь, с ним делает: раз – кончик кнута обмотался вокруг рогов козла-коновода, и он как привязан, р-раз – срезана алая колючка чертополоха, р-раз – плоская галька, с вибрирующим звуком, будто козодой закричал, исчезла в воздухе...

К вечеру Санька подгонял разношёрстное стадо к берегу старицы, за которым начиналась урёма, ближе к Красноярке; солнце уже уходило за береговые вязы и осоки, в предвечернем заустенье трава сочнела, и животные торопливо щипали её. Санька оставлял стадо на меня, а сам шёл к Зилиму: скупнуться. «Витёк, я – щас! Ширну-мырну – и тута!» – а сам купался до посинения: я порой начинал мандражить уже и поскуливал, не решаясь ни гнать стадо в Малышов-



ку, ни оставить его. Он появлялся всегда неожиданно, из-под берега, переполошив и стадо, и меня лещачьим гоготом и свистом; мне он приносил какой-нибудь «суприз» – огурчик, морковку или головку недозрелого мака – это значило, что Санька с речки шёл красноярскими огородами...

Так что к своей участи – пастьбе Чернушки – я был в какой-то степени подготовлен и морально, и «технически»: у меня было в запасе несколько лыковых верёвок и был кнут. Я связал верёвки в одну, сложил её в моток, и, развернув, захлестнул, как это делают с вожжами, на удавку. Было ещё очень рано, но мать уже хлопотала: подоила Чернушку, дала ей поила, а мне кружку молока и кусок хлеба, с собой дала баранку – «ярмоначный гостинец» и кусочек хлеба с крупной солью: «Чернушке дашь, ежли чо...» Был уже август, с утра зябко, и я одел старенький пиджачок брата, опоясался ремнём, сделанным мне из портупей отца (сам поясной ремень, широкий, строченый, с командирской пряжкой взял, конечно, брат по праву старшего), сзади засунул за пояс, как это делал дядя Петя, с грехом пополам острённый топор, мало ли: колышек затесать, вбить... Я взялся за поводок, привязанный к широким, с загибом вперед, чернушкиным рогам, и вывел её за изгородь под радостно-пугливое благословение матери...

Я вёл Чернушку в поводу, и она шла послушно, понуриив чёрную, цвета зяби, по которой мы шли, с сизоватым отливом, звёздчатую голову и могучую, в складках, шею; тёмно-лиловые глаза её, прикрытые белёсыми ресницами тускло поблёскивали. Мне понятны были её чувства, и я даже не заметил, как стал разговаривать с ней: «Ничего, Чернушечка, не печалься! Это сперва здесь только так. А потом – ничего. Может, даже и пондравится! А чо?.. Я тебя счас на полянку одну приведу, там трава – ого-го какая травка! Санька туда стадо не гоняет, боится, что в куртинах ягнята потеряются...» И я привёл Чернушку к устью лога, на склонах которого и сейчас ещё попадалась томлёная крупника, а на опушках, по обе стороны лога, и среди куртин в начале лета росла земляника. По этому логу можно было спуститься к речке, а по ней попасть в Малышовку; к концу лета Речка совсем обмелела – можно было перепрыгнуть, и только изредка попадали ямы-омуты, в которых, как говорили в Малышовке, было «глыбко».

Я привязал Чернушку временно к одинокой берёзке, а сам занялся «вожжами»: памятуя дядипетин наказ, я не решился отпустить корову без привязи. Я вытесал и забил кол, прикинув длину вожжей, так, чтобы Чернушка могла, по желанию, пастись в холодке или на солнышке.

Сначала Чернушка паслась неохотно: пощиплет-пощиплет траву, подымет голову, словно прислушиваясь – даже ушами поводит, на губах трава и тонкая, длинная, как паутинка, слюна по ветерку тянется. Но голод не тётка, взял своё: смотрю, энергичнее стала она «косить» высокую траву. Наблюдаю: интересно! Языком, словно жница левой рукой под серп, или мотовило у жнейки под ножи, пучок травы в рот направила, зубы сомкнула – лёгкий мах головой вверх, и уже комок по горлу прокатился, и уже снова язык жменьку травы в рот заправил, кивок – и ком по горлу катится... Только трескоток и шелест и изредка глубокий,

утробный выдох... «Глодает, не жевавши!» – делаю я открытие. Насмотревшись, как она пасётся, я принялся шарить по склонам: ягоды попадали возле муравейников, возле куртин бересклета. Проведав Чернушку, я спустился к Речке, в надежде найти заросли ежевики или черемушину, чтоб полакомиться дарами леса. Но тщетно: ягоды были обобраны, и мне пришлось довольствоваться пахучей гирляндой хмеля, уже начавшего желтеть; обмотавшись хмелем крест накрест, я появился возле Чернушки: она перешла к берёзкам, в тень; услышав шаги, мельком глянула на меня и продолжила энергично свою трапезу. Отойдя чуть в глубь леса, там, где начинался осинник, я решил начать заготовку дров.

Вообще, я был приметливый малый: когда дядя Петя плотничал (он ставил себе большой дом), я краем глаза следил за его действиями: как он держит топор, как рубит, тешит. У него получалось все легко – будто топор сам всё делал! Но у него ведь и топор-то был плотницкий: небольшой, с оттянутым вниз острым лезвием на горбатом топорище... Да и сила была с моей несравнимая! Хворост рубить мне приходилось, но свалить настоящее дерево я решился впервые... Если бы я видел, как это делается, дела мои продвигались бы успешнее, а тут – у меня пупок присасывался к позвоночнику, когда я поднимал в замахе топор, а проку от удара было мало: я скорее зубами бы уже перегрыз несчастную эту осину, чем неподъёмным топором. Я плакал от бессилия, но бросить начатое дело не мог: садился, отдыхал и вновь начинал мочалить несчастное дерево. А оно, обточенное, как карандаш, со всех сторон, всё не хотело падать... Но когда оно, странно вздрогнув – и это содрогание передалось мне! – стало падать, я испытал целый веер разноречивых, но сильных чувств: тут было и торжество победителя, и сожаление, и сочувствие к побеждённому, жалость – когда оно с шумом, тяжким вздохом и треском ударилось о землю. У меня хватило сил обрубить сучья, очистить крупные от веток и сложить их у предполагаемой поленницы. И тут я услышал низкий, призывный голос Чернушки. Всадив топор в бревно, я побежал на её зов.

Долго я провозился с валкой дерева! Солнце уже давно перевалило полуденную горку и приближалось к кронам осокорей и вязов, что сторожили урёму; как только оно докатится до тёмной, непросвечивающей урёмы, пора будет и домой. Чернушка стояла на солнце, и её чёрная спина и бока отливали радужными искорками. Она не жевала, и снова тягучая слюна её отсвечивала серебром паутины. Она снова замычала коротко и требовательно. «Пить, чай, захотела! – догадался я. – Пошли на речку, Чернушечка, испей, испей водицы! В Речке хороша водица – ключевая, родниковая!»

Чернушка пила воду долго, в несколько приёмов. Ветерок затих. Слышно было, как журчала, чуть пониже, Речка на перекате и звонко цокали, стекая с коровьей морды крупные капли, разбивая чёткое отражение Чернушки на фоне матово-серебристых тальников.

Домой Чернушка шла сбоку и чуть впереди меня, смешно закидывая в стороны задние ноги; временами она глубоко, с отрыжкой, вздыхала и трубно взму-

кивала. Меня интересовало: найдёт она дорогу к Лизочкиному дому или мне придётся вести её? Нашла сама, к моей радости! Ворот в загоне не было, я дал Чернушке подсохший кусочек хлеба с солью и стал убирать съёмные жерди, чтобы пропустить её. А тут и мать вышла с тёплой водой в ковше и чистой тряпицей и ведром с пойлом: помыла вымя и принялась доить. День мне показался длинным-длинным. Я едва осилил ужин и, не успев толком рассказать о своём первом пастушеском дне, стал засыпать прямо за столом. На следующий день мать едва подняла меня...

С Чернушкой мы подружились, так мне казалось. Я уже подумывал: не пустить ли её на вольную пастьбу, раз она привыкла ко мне, к матери, к своему загону и стойлу?.. Особенно в ненастье появлялось такое желание. И она, по-собачьи как-то всей шкурой стряхивая с шерсти мокреть, смотрела с жалостью на меня, укрывшегося рогожным кулем, словно хотела сказать: "Чо маяшься-то, дитятко? Иди на сенник, в избу на полати али на печку да и сладко подремли..." Но что-то меня удерживало, и я пас её на привязи, удлиняя с каждым днем "вожжи".

Как-то, уже перед самой школой, пригнал своё стадо в мои места Санька. «Э-э, а ишшо ипташляром (т.е. другом) я тя считал! – укорил он меня. – А ты, окавыватца, кулак-единоличник! Вместе, чай, веселей пастись. Костерок сейчас сгоношим, картовки печёной сладим: и при деле будем, и курсак мало-мало набьём. Тут колхозная картовка недалече. Рассыпчата... Скусная, спасу нет! Пригляди маненько за скотинкой, я слётаю.» С тех пор мы «паслись» вместе...

А тут начались занятия в школе...

В школе было три человека: директор Пётр Яковлевич, учительница Елена Васильевна и уборщица тётя Марта, наша соседка. Елена Васильевна вела занятия одновременно с первым и третьим классами, а директор – со вторым и четвёртым. Занятия начались с того, что директор стал учить определять время по большим, старинным часам с маятником и боем и стричь ручной машинкой наши выгоревшие шевелюры. Четвероклассники – там были уже настоящие женихи! – выторговали себе, если не водились у них «воши», как говорили и в Красноярске, и в Малышовке, право носить чубы, а всех остальных Петр Яковлевич стриг «под Котовского», как он говорил. Когда очередь дошла до меня, я пошёл в кабинет директора как на казнь, и не зря!

Директор был крупный, черноволосый мужчина в офицерской гимнастёрке и синих галифе, в хромовых скрипучих сапогах. Он бесцеремонно сдавливал голову сильными волосатыми пальцами, крутил её, словно хотел отвинтить от туловища; по всему чувствовалось, что с машинкой он имеет дело впервые: мало того, что он пребольно вырывал волосы клочьями, так он умудрился ещё в нескольких местах поцарапать меня до крови. Открытым текстом, почище хромого дяди Вани-конюха, он материл машинку, мои жёсткие волосы (Что за волосы, тра-та-та! Проволока колючая, а не волосы..!) и всё на свете! После такого начала в школу не больно-то хотелось, и я с радостью забирал после уроков Чернушку, крутившуюся на тощей луговине возле дома, и гнал её на жнивье или на отаву,



где стояли в огородах стога, и нужно было держать ухо востро, особенно Саньке, чтобы ягнята и овцы не пролезли к стогам за изгородь.

Однажды, теплым, отрадным днём бабьего лета, когда красивые бабочки-осенницы летают над последними невзрачными цветами, когда летают на паутине маленькие паучки и поговаривают о копке «картовки», сидели мы с Санькой на овчинке: он вскоре сморился под благодным солнышком, задремал, а я остругивал дубовую трость-палку – для защиты от Артура-Роберта: он не давал мне проходу ни в школу, ни из школы, и я вынужден был каждый раз выбирать какие-то окольные пути, Я был занят своими, мыслями, и не сразу понял, отчего мирно пасшееся стадо вдруг шарахнулось в сторону, и не сразу заметил бегущую в сторону леса серую собаку с закинутым за спину ягнёнком. «Санька! – заорал я. – Смотри: собака! Ягнёнка...» Саньку как подкинуло: схватив кнут, свистя и щёлкая кнутом, он побежал следом за собакой... но, тщетно: она скрылась в подлеске...

Санька возвращался расстроенным: «Собака, собака, – передразнил он меня. – Волк это серый, волк! А ты: «собака»... Разобраться надо, чей ягнёнок. Не дай Бог, если Егорыча ... Со свету сживёт...»

Волк утащил ярочку тёти Машиной соседки, Нюрочки Анчутиной, вдовы солдатской, у которой и коровы-то не было, а была коза, овечка да эта ярочка. И две девчонки, с которыми водилась моя сестрёнка. Когда я рассказал об этом случае дома, мать поахала: «Волчий угол, истинно волчий угол! Надо ж: средь бела дня! И у кого? Господи, у сирот!»

Кончились погожие денёчки, забусило, заморосило, замозжило: Куян-Тау тёмной тенью в подбрюшьи туч мелькнёт и опять серым-серо. При такой погоде в школе и то веселей сидеть: палочки с наклоном царапать да другие палочки складывать – отнимать... Букварей и арифметик у учеников не было, только у учительницы. Тетрадей на руки тоже не выдавали. У учительницы была четырёхгранная дубовая линейка: пока мы сопя и пыхтя срисовывали с доски палочки, крючки, закорючки, т.е., элементы букв, она, перекатывая линейку по странице, ловко чертила косую линейку – для выработки наклона письма. Только в третьем классе, для чистописания, – был такой предмет, мы получили фабричные лощёные, в косую линеечку тетради. Этой же линейкой, выведенная из себя озорством или тупостью, Елена Васильевна могла и приласкать виноватого, по чему придётся. Я как-то, наблюдая за падением огромных, толстых, как лопухи, тополиных листьев, так увлёкся, что не услышал её обращения ко мне и очнулся только получив линейкой по своей круглой стриженной голове: удар был очень болезненный, и я чуть не занюнил. Конечно, после этого пастьба Чернушки покажется раем: никто не кричит, линейкой не стучает, сам себе хозяин! А в школе – чо? Пришей-пристебай! Тётя Марта орёт: «Грязный русска малайка, ноги мойт?!» Пока босыми ходим – почему бы и не помыть? Мне ладно: мы из Косихи кое-какую кожаную обувь привезли, а другие – в лыковых лаптях ходят! И вообще, что Малышовка, что Красноярка – беднящие деревни! Редко-редко дома

-пятистенки, а то все больше избы, покрытые соломой и без сеней. В Красноярске только школа, правление да наш, Лизочкин вернее, дом под железом. (Я тогда не мог предположить, что и мы будем жить в однооконной избёнке, без сеней, под двускатной, продувной крышей из осоки, и сапоги и ботинки, которые я научусь ремонтировать, сносятся, а я буду плести липовые лапоточки на мать и младшую сестрёнку; старшие брат с сестрой к тому времени будут в Уфе: одна – работать, второй – учиться в техникуме).

А пока... Пока я ходил в школу, избегая встреч с соседом, прошмыгивая удачно мимо толстого прокурата. Похлебав с куском хлеба супец или щи, про которые мать говорила: «Ши – хоть кнутом хлещи: пузыри не вскочат, брюхо не обкормят!», я отвязывал Чернушку и вел её на прокормистые, травные приложья, часто натыкаясь на Саньку с его к осени явно подростшим, и посолидневшим стадом. И только козы, как прежде, вскакивали на похилое дерево и обгладывали молодые паветви до твёрдой древесины. «Мотри, мотри! – кричал мне Санька. – Мотри, куда дура неповитая взъелошилась: ежли брякнется, рога сломат, ей-Бог! Прокуратка...Ты откелича пришедши? – спрашивал меня. – Из дому ай с выгона? Посторожи маненько, а то я совсем захороводился с имя, – в лес сбегая на вырубку, опят порыскаю...» Прихватив вязовый кузовок, Санька шеметом исчез в лесу, даже не выслушав моих сомнений насчет того – доспею ли я с такой оравой в перелеске? Нехорошие предчувствия загомозились во мне. Покорей привязал я Чернушку поодаль, на чистине, принёс ей от стога оберемок сена и начал разнопородное санькино стадо из прилеска выгонять на улог. Будто бы всех выгнал, а нет: козёл-коновод боталом в лесочке бренкает. Пока нашёл его да выгнал, Чернушка отвязалась, и не видать её окрест. Вот грех-то! Каждый день чего опасался, то и случилось! И Чернушку искать надо, и стадо бросить боязно; подведу Саньку... «Эге-гей! – кричу – Санька-а!..» В ответ безумолкный лесной воркот. «Черну-шка! – зову корову, – Черну-у-щечка! – тяну плаксиво, – Черну-у-шенька!..» – тоже самое. А из лесу в лога, потаймя, сутемень стекает, белёсым туманом прикрывается. Мечусь я, как оглашенный, кричу бесперечь, козёл-коновод уже в сторонке бренькает: в Малышовку стадо поворачивает... Всё: не найти теперь мне притула и спасения! Проворонил корову... И вдруг, словно выстрел, слышу щёлк кнута. Выбежал я по-за кусты, а там – Санька идёт, а впереди его – Чернуха... «Дёржи свою блудню! Каба не кнут – не возвернул ба! Не зря говорят: «В бане веник господин, в печке – кочерга, а в стаде - кнут!» Теперича, ты, ипташляр, должник мой. Во!»

Я уж не стал ему возражать, что если бы он не пошёл за опятами, никуда бы у меня Чернушка не делась. Да не до этого было: самое главное, что вот она, бокастая, в блёстках дождинок, идёт впереди, откидывая ноги в стороны, чтобы не потревожить набухшее вымя, и от неё пахнет мокрой шерстью, тёплым парным молоком, а за белую метёлку чёрного хвоста её зацепилась сухая былка: ни паутов, ни мух сейчас нет, и хвостом она не хлещет себя, он ей сейчас как бы без надобности.

А тут и зима... На трудодни, заработанные матерью, братом и сестрой, ничего не дали. Своей картошки в тот год у нас не было, поскольку приехали летом, и питались мы покупной. Лугов нам не выделили, и сено для Чернушки пришлось покупать: по первопутку привезли несколько возов, сложили сено на коровник, а часть сметали на чердак. Дров, благодаря моим заготовкам, не покупали. Но для выпечки хлеба они не годились, для этого дела требовались дуб, вяз или берёза, а у меня – осина, да ветла. Вязовый сухостой мы промышляли со старшим братом в Казённом лесу, в пойме Зилима. Он ходил в Краснозалимскую семилетку и в сильные холода квартировал там, у дальней родни.

Коровник был тёплый, сена оказалось в достатке, и Чернушка перезимовала нормально. Зимой на колхозные работы мать наряжали редко, и она приглядывала за коровой. На мою долю приходилась чистка коровника да подача сена с чердака. На чердаке я бывал и по другой причине: я почему-то часто угорал. И отлеживался в этом случае на чердаке: зарывался в сено и читал. Из книг, доступных мне, у нас была «Хрестоматия» для ликбезов. Читать по складам я выучился ещё до школы, в Косихе, а в первом классе уже: читал про себя довольно бегло. В хрестоматии были лермонтовские «Тамань», «Княжна Мэри» и «Бэла» – я был очарован щемящей грустью повестей, чем-то созвучной моему тогдашнему настрою. Такое ощущение навевали на меня и мартовские сырые ветры с запахом талого снега: по дороге в школу я даже останавливался лицом к этим южным ветрам и втягивал вдруг загустевший воздух с непонятной тревогой. В марте же произошло у меня решительное столкновение с Артуром-Робертом: он достал меня, и я, в порыве отчаянья, на большой перемене так прижал его к стенке, что чуть не задушил. Сам он вырваться был не в силах, спас его Пётр Яковлевич. После этого мы с ним поменялись ролями: теперь он обходил меня стороной.

Зимой мать купила небольшой сруб. Дядя Петя перевёз его, и как только потеплело, мать устроила помочь, и сруб собрали на мху (мы позже теребили его из пазов и «курили» понарошку). Всё остальное – тесал и укладывал пол и потолок – тёсу-то не было! – ставил оконные, и дверные косяки, связал, навесил и вставил рамы и дверь и всё остальное – сделал дядя Петя. Прясла вокруг двора, загон, немудрящий коровник – это всё было дело рук моего старшего брата-семиклассника при моей скромной помощи «подай-принеси». Брат, плотничая, почти отрубил средний палец левой руки, меня он при этом, под страхом избиения, заставил этот палец приставить, и так держать, пока он бинтовал его тряпкой; палец сросся, но действовал ограниченно, и позже из-за него брата из военно-морского училища списали в матросы на флот.

Чернушка нас здорово выручала: она давала по два подойника молока, и оно было повышенной жирности. Так что нам молочный налог в литрах, при пересчёте жирности к требуемой, даже скашивали.

Однажды пастух просмотрел, и почти всё стадо попаслось, на клевере, в том числе и наша Чернушка: к вечеру она раздулась и готова была лопнуть от газов. Чем бы всё кончилось, не знаю. Но вовремя пришёл деревенский коновал и

обычным прокалённым шилом проткнул ей бока в определенном месте, и они вскоре опали, как проколотый надувной матрас. И Чернушка стала спокойно жевать свою жвачку. Но поволновались мы за неё здорово. Зимой Чернушка отелилась: тёлочку, ярко-рыжую, с белой звёздочкой на лбу, назвали Зорькой.

А на будущее лето взбесившийся колхозный бык пропорол Чернушке живот, и её прирезали. Дали за неё в колхозе нам мешок пшеницы с викой и мышинным горошком. Начались для нас трудные времена...

Овладение дедукцией

Башкирские лапти

В Малышовке, года через два после отъезда из Косихи, мы совсем обносились. Я стал заправским сапожником: ловко пришивал заплатки на сапоги и ботинки, сучил и смолил дратву, вошил её. Нарезал ножовкой берёзовые кругляши – блины, сушил их и колол узенькими пластинками, из которых потом сапожным ножом строгал берёзовые гвозди – колки, и затем, пользуясь четырёхгранным шилом, сапожной лапкой и молотком, этими берёзовыми «гвоздями» в два-три ряда подбивал подмётки. И надо сказать, что, разбухнув, они держали подмётки крепко, снашиваясь вместе с ними. Со временем латки на обуви были друг на друге, обувка стала непригодной к ремонту, и пришлось мне осваивать изготовление лаптей: обычной обувки малышовцев. А для этого требовалось лыко и мочало. На лыко шёл луб молодых лип. Заготовка его начиналась во время сокодвижения. На дело шли обычно побеги, густо росшие вокруг спиленных зрелых лип: кора – на лыко, лутошки – на тын, верхушки – на корм скоту в виде веников, ими любили лакомиться ближе к весне телята и ягнята. Лес от Малышовки был рукой подать, и я таскал заготовки ня себе вязанками. Если попутно находил илемовый или вязовый сушняк, брал у дяди Пети тележку на железном ходу и привозил уже целый воз хвороста и липовой поросли. Ободрать липку нужно было сразу же: вдоль делался надрез ножом, затем он расширялся заострённой палочкой, небольшое усилие – и лутошка, телесно-белая, скользкая стыдливо выскакивала наружу из своей одёжки. На солнышке, на открытом воздухе она вскоре желтела. А лутошкина одёжка сворачивалась изнанкой наружу и вешалась на просушку в тень на чердак или в сени. Перед использованием лыко заваривалось крутым кипятком и резалось на ремни потребной ширины, и только после этого с него снимался наружный слой: лыко, свежо пахнущее, эластичное, матово-золотистое, было готово! Из него можно было плести лапти, кузова, кнуты, коврики, верёвки... Но одним лыком не обойтись – без мочала...

Мочало... Слово уже само за себя говорит: это нечто мочёное, причём – хорошо мочёное! На мочало шёл луб взрослых и старых лип. Хорошие, ровные липы росли

в чащобе: длинные, без сучков, толстокорые. Я днями пропадал в лесу, с топором за поясом. И, по самому не совсем понятным признакам, у меня начинали складываться представления о жизни природы, её укладе, но многое постигалось опытом, бывало, и горьким. Кстати, как замачивать липовую кору, мне никто не показывал: просто я слышал, что надо замачивать надолго. Было лето 47-го года. Мне вот-вот должно было стукнуть девять лет. В Малышовке и предыдущие два года жили впроголодь, а летом 47-го по-настоящему голодали. От недоедания я был изнурён, мало силен и рахитично золотушный от лебеды и крапивы, кислицы и пучек. Предельная мечта тогда была – большая деревянная ложка пшённой каши: часто стояла она перед глазами – рассыпчатая, золотистая, с таким неповторимым сытным запахом. Шатаясь по лесу, я не брезговал не только борщевиком, саранкой, но не пропускал и молодые серёжки ветлы, и липовый молодой листочек с припенёчной поросли. А когда, после первых тёплых гроз, пошли вешенки по вязовым колодам, я занялся поиском этих колод в памятных мне местах, и потом аккуратно, слой за слоем, снимал с них урожай. Точно также у меня были заветные полянки и уголья с ягодой – крупником, да лога и вырубки с земляникой. А когда я впервые решил зайти мочало, мне память подсказала одно маленькое лесное озерцо. На почин я свалил недалеко от озерка пару липок – маломерок, не без труда снял кору и свернул её в неплотный обод. Вырубил и заточил пару колышек. Скинув штаны (пацаны в Малышовке трусы не носили – такого понятия вообще не было: с холодами поддевали кальсоны, которые вместе с нательной рубашкой называли одним словом: исподнее), я притопил перевязанное в нескольких местах лыком колесо, и наклонно вбитыми кольями закрепил его в таком положении. Выбравшись на берег, я с ужасом увидел присосавшуюся, в сгибе, под коленом, пиявку. С грехом пополам, преодолев брезгливость, я оторвал её и бросил в воду. А из ранки между тем кровь продолжала течь, и меня охолонул страх: ну а как теперь и не остановится?..

В Малышовке, несмотря на голодное время, воровства не было: избы и сараи, погребы и коровники на замки не закрывались, замки висели только разве что на бабкиных сундуках, на колхозных амбарах да на магазине (по местному «лавке») в Красноярке, которая, по словам матери, до переворота была Покровкой. Также не зорились чужие верши, морды и хвостуши, не трогалось сено в стогах, и дрова из чужих поленниц. Так же и мочащийся лён или корьё. Исключенье составляли огуречные и морковные грядки и мак на огородах малышовцев да горох – на колхозных полянках. Этим, презирая страх быть настёганными крапивой, занималась деревенская мелкота.

В сентябре я пошёл в третий класс. В моём развитии незаметно произошёл какой-то качественный скачок: всё мне в школе стало понятно, и я по всем предметам получал одни пятёрки, уроки у меня много времени не занимали.

В один из дней бабьего лета я пошёл на лесное озеро – проверить как оно мочало, поспело?

Вода в озерке была сонно-тёмной, но прозрачной, густо усыпана золотистыми липовыми листьями. Оно ничуть не обмелело, было опущено изумрудно-зе-



лёной осокой и перепелёсым уже пыреем. Корьё загадочным силуэтом темнело сквозь тёмную вуаль с золотистыми мушками. Позже, увидев впервые картину Васнецова «Алёнушка», я был поражён: до чего же изображённое озеро там было похоже на это – моё озерко лесное! Боясь пиявок, в этот раз я полез в воду, в чём был. Кора набухла, и я с трудом вытащил на берег специфически пахнущий кисельно-хлюпающий моток. Внутренний слой луба превратился в вощаные, восково-жёлтые легко разделяющиеся тонкие, как бумага, широкие полосы, средний слой был поглубже, слизистый, как бы ячеистый, похожий на соты, непрочный. Разобрав мочало по сортам, я прополоскал его в озере как следует, и развесил для просушки. Когда мочало слегка обветрило, я свернул его в две восьмерки, связал их и, перекинув через плечо, понёс домой. Подсохшее мочало пахло диковато и нежно. Просушив и обмяв мочало, я плёл из него верёвочки различного применения, в том числе и вязки для лаптей, длинные верёвки – вожжи, короткие, толстые – для увязки бастрига (гнёта) при перевозке сена и прочие, какие требовались в деревенском хозяйстве. Вроде простое это дело – сплести верёвку, да смекалки требует! Но в основе смекалки всё же лежат наблюдательность и размышления. Гораздо позже, когда я учился в Уфе, в девятом классе, учитель математики Иван Григорьевич Ширяев, выпускник С-Петербургского университета, потерявший руку волонтёром в первую мировую войну, обучавший нас, несколько человек, по дореволюционным гимназическим учебникам математики, смекалку называл подсознательным проявлением метода дедукции... К сожалению или нет, но я не знал об этом в те малышовские свои годы. А жизнь малышовская требовала постоянно этой самой "дедукции" – чтобы выжить!

Как я уже говорил, пришло время и одёжка у нас обносилась донельзя, а обувь – разбилась вконец. Мать со слезами, а порой и с неумелыми мятюжками чинила-перечинивала, как она говорила, «ремки», перешивала, перелицовывала нам с сестрёнкой вещи взрослых. «Голым задом» по крайней мере, как она признавала, мы не сверкали. И, благодаря мне, пятками тоже не сверкали, ходили в лапотках из липы.

В Малышовке ходили в лаптях башкирской модели: с тупыми носами. Русские лапти были остроносые, плавных обводов. Башкирские лапти плелись с носка, русские – с пятки. Технологию плетения я освоил быстро, умел наращивать подмётки, каблуки, т.е. ремонтировать, но – башкирские лапти... Русские же лапти мне оказались не по зубам, видно методом «дедукции» я владел ещё не вполне, хотя образец у меня был: мать, будучи как-то на "ярманке", так говорили все, в Караново, покупала себе пару. «Русски-т лапотки дед твой Грегорей ловко работал! – ударяя на последний слог, утешала она меня. – Работай – каки получатся, всё не покупать!»

И я «работал» башкирские лапотки.

Размер лаптей по ширине определялся количеством и шириной лыка, а по длине – количеством переплетений. Изготовление лаптя начиналось с выбора соответствующей верёвочки, длинной – если концы её предполагалось исполь-



зывать в качестве вязок для закрепления онучей, и короткие – когда она являлась только периметром лаптя, но такой, чтобы петлю, сделанную из неё, можно было натянуть на ступню и колено. На коленке под веревочку продевалось необходимое количество мягких, распаренных лык, и носок лаптя, с тремя углами: центральным и двумя боковыми, выплетался на коленке, далее – плелись подошва и борта до пяточных углов; после выплетания задника часть концов обрезалась, а с помощью других «подбивалась» подмётка и каблучок – но для этого требовался уже специальный инструмент – кадочиг, своего рода изогнутое шило, только толстое и широкое, позволявшее пропускать лыко под сплетение при «подшиве» или ремонте. В заднике и по бортам оставались отверстия для продевания верёвочек или ремешков сыромятных... Вместо стелек в лапти клался обычно пучок сена или мягкой овсяной соломки. Хорошо сплетённые лапти обычно воду не пропускали, но тяжелели, набухая. Сухонькие же лапоточки были легки, ходишь в них – как босой! С шерстяным носком и суконными онучами тепло было в них и в крепкие морозы. Я не раз вспоминал их добрым словом и в меховых сапогах, и в унтах, не говоря уж про «прощай молодость» – студентом...

Башкирские лыжи

В Косихе у нас (у брата) были Фабричные лыжи, в Малышовку – за тридцать земель! – их не повезли. Первую зиму, когда мы квартировали в Красноярске-Покровке, мне было не до лыж. А вот когда в Малышовке мы «поставили» свою избу на «своём» огороде, обгородили его пряслами, соорудили коровник, короче, зажили своим хозяйством, понадобился различный инвентарь: вилы, грабли, тележка, санки... корзинки... кадушки... корыта и корытца... кузова... туюски... А инструмента у меня было всего нечего: тупой топор, пила, треугольный подпил (напильник), молоток, клещи и... нож-складешок, который я берёг пуще всего. В качестве стамески и долота я использовал толстый гвоздь с расплюснутым концом. Отверстия я обычно прожигал раскалённой железкой. И здесь мне помогла «дедукция»: я обратил внимание на то, что остуженная в снегу железка плохо поддаётся подпилку, и стал таким образом закаливать свою самодельную стамеску. Обратил внимание и на то, что перекал делал металл хрупким. Поэтому искал золотую серединку: окунув в снег, остужал в тепле. Затачивал свой инструмент я кирпичом или на куске мельничного камня, остроту наводил бритвенным оселком, от отца на память (саму бритву забрал брат в Уфу, как тогда говорили, для понта: он не брился ещё, а как орудие самозащиты вряд ли употребить смог).

И вот в таком «всеоружии» я решился смастерить себе лыжи! Ещё с лета я выбрал в лесу подходящую берёзку – чтобы без сучка, подходящей толщины. Для этого мне пришлось углубиться далеко в лес, в низины, в сторону зимнего обиталища волков: в февральские стылые вечера оттуда частенько слышался волчий вой. Там, дальше, говорили, находится деревушка под названием Волчий угол. Поскольку летом по берегу речки волки забегали к нам в деревню за гуся-

ми и таскали даже ягнят, из смешанного стада, пасшегося между Малышовкой и Краснояркой, чему я сам был несколько раз свидетелем, я их по светлому времени не особо боялся. Другое дело зимой, в поле, особенно в феврале, когда у них гон! В памяти стояла страшная история про учительницу, которую волки чуть не с одежкой сожрали между Красным Зилимом и Архангельским, райцентром. Правда и летом, когда рядом начинали всполошно стрекотать сороки, неприятные мурашки пробегали по спине. Поскольку дорога предстояла дальняя, я решил всё же прямо в лесу заготовку обработать: расколол вырубленное бревешко на две части, вытесал из них подходящие по толщине дощечки и понёс домой. Чтобы при сушке заготовки не треснули, я затёр глиной торцы и привязал их к слегам нашей соломенной крыши.

А как выпал снег, приступил я к изготовлению лыж. Первым делом надо было прожечь отверстия под крепёжные ремни. Изба наша обогревалась русской глинобитной печью и каленкой – так звали в Малышовке жестяные буржуйки. Печь до настоящей зимы топили только для выпечки хлеба, а для обогрева и приготовления немудрящей пищи топили каленку. Любимым нашим с сестрёнкой блюдом были «печёнки»: картофелина режется на пластины толщиной с сантиметр и пришлёпывается к алым бокам каленки; присыпанные солью, вкусны они были с молоком; это бывал наш завтрак перед школой. На этой каленке я грел в чугушке кипятки, в её зеве калил полоску железа и, когда она алела, я зажимал её клещами, выбегал на крыльцо и приставлял её к заготовке: раздавалось шипение, парок шёл вверх, вырывался сначала голубенький, затем чёрный дымок, пахло брошенной в снег берёзовой головешкой. Пока полоска калилась вновь, складешком, затем «стамеской» отверстие зачищалось до чистой древесины. И так по несколько раз с той и другой стороны. Когда «туннели» смыкались, дело было, считай, сделано. После этого можно было приступать к стёсыванию передней и задней части лыжины до нужной толщины. Распарив в кипятке не заострённые пока носки лыжин, я с помощью ручек сундука загибал их, закреплял в нужном положении и оставлял до просыхания; заострял я их осторожно ножом. Рубанка у меня не было, поэтому заусенцы, оставшиеся от топора, я удалял осколком стекла – подобным образом я зачищал топорище, рукоятки и черенки. Приладив ремни, я опробовал лыжи: скользили они плохо, зато хорошо юзили! Я это связал с отсутствием желобков, и стал их буквально выцарапывать ножичком. С грехом пополам получились они у меня треугольной формы и кривоватые. А перед воцелением я догадался лыжи нагревать над каленкой: воск стал, как бы впитываться, и лыжи заскользили! И я начал ими пользоваться: катался с сугроба, наметённого возле коровника, начал делать вылазки в лес, ходил вдоль Речки, на болота – на разведку, узнать: как там жизнь?...

Жизнь и зимой продолжалась! Я видел множество мышиных, заячьих и птичьих следов, растерзанные ягоды шиповника, калины, боярышника... Огрызки желудей, липовых и кленовых семян... Домой принёс вязанку сушняка, мороженого шиповника. Потом сделал и палки с кружочками; с ними преодолевать



подъёмы стало легче, а так – они мешали. С тех пор чуть свободное время – я на лыжи и на горку или в лес...

В зимние каникулы как-то, свернув свои плановые дела, я решил немного размяться: хоть по огороду пройтись на лыжах. В избе я был один: мать с сестрёнкой ушли к тётке Маше попрясть на ножной прялке... Я оделся, обулся. Мать недавно подогнала мне пальтишко, сделанное из армейского ватного бушлата, оставленного папкой, приехавшего летом 42-го в Косиху на трёхдневную побывку. Он тогда много оставил своих вещей: полушубок, бушлат, шлем, фуражку, планшетку, подшлемник, рукавицы с отдельным указательным пальцем и офицерскую португую. И карманные часы с крышечкой. Широкоплечный, красиво простроченный ремень с латунной пряжкой, в которую встроена ажурная звезда, забрал брат, а мне достался только наплечный портупейный ремень: он был в два раза уже, но тоже был красиво отделан. Бушлат тоже носил брат, мне он достался после него. Что он зимой носил в Уфе, я не знал: он приезжал только летом на каникулы. Я почистил в коровнике, принёс охапку дров в избу, после этого надел лыжи и походил по огородной лыжне. Ночью, видимо, мело: лыжня была запрессована мелким, как пыль, снегом: лыжи по нему, словно по бересте совершенно не скользили. Воздух тоже был какой-то, тормозной, жёсткий, нескользкий, словно насыщенный шероховатой пылью: дышалось трудно. Да и зябко было. Хотя светило солнышко, и тень на снегу была уже налита густой синевой. Я зашёл в избу. Изба за это время успела выстудиться. Я задумался: затопить каленку или пойти за матерью? Стояла почужевшая тишина, даже сверчок не подал голоса. Бухала кровь в ушах. И вдруг внутреннюю тишину нарушило хриплое, с многоголосым подсвистом... моё дыхание!.. Я затаился...и снова воцарилась холодная гнетущая тишина. Выдохнул – и опять у меня запело многоголосое в груди. Задержал дыхание – притихло. «Неужели воздух такой был острый, морозный, что с лёгкими моими что-то случилось?» Я не на шутку испугался. Такого со мной не приключалось прежде: кашля нет, а скрип есть, чтобы это значило? Чем это мне грозит? Наконец я решил, что надо протопить калёнку, а позже продолжить выяснение феномена. Добросердечна калёнка: не таит в себе жар, сразу отдаёт! Я и не заметил, как разоблолся*.

И праздничный обед себе решил нечаянно устроить: печёнок из чищенной картошки сготовить! Складешок, доверенный мне братом, был о двух лезвиях, шиле и штопоре, который я, используя как буравчик, обломил. Картошку чистить я научился от брата: высшим шиком считалось – когда кожура снималась одной тонюсенькой, до просвечивания, витой стружечкой, на худой конец – двумя... Я чистил малым лезвием – оно было всегда остро заточено, деревяшки я им не строгал, чтоб не тупить. Посверкивающую крахмальными искорками картошку я разрезал на кружочки, натёр толчёной солью наружные стороны и пришлёпнул их к рдеющим бокам каленки. Соль всё же попадала на каленку и с треском разлеталась хвостатыми искрами. Некоторые печёнки по готовности отскакивали сами, другие приходилось отделять деревянной лопаточкой. Перекидывая с руки на руку и таким образом, остужая их,

я начал есть вкуснейшие картофельные печёнки. Некоторые были с сыринкой, но это не портило их вкуса. Молока у нас не было: нетель Зорька обещала дать приплод где-то ближе к весне. Поэтому молоко мы видели редко, довольствовались морковным чаем, шиповниковым настоем, пареной калиной да душицу заваривали (мать душицу звала духмянкой, и в самом деле, когда заваривали её, – такой духмяный шёл аромат!..). И в этот раз, запив печёнки отваром, я умиротворённо вздохнул... И вспомнил про посторонние звуки: их не было! Подышал по-всякому: с остановками, с резкими вдохами – выдохами, с голосом и без голоса, всё – как обычно! «Почему ж одетый я со свистом, со скрипом дышал?» Я подёргал ремень – такой же как всегда. Одел бушлат, опоясался ремнем, глубоко вздохнул – «музыка» опять появилась... И хотя теперь я знал, что с грудью моей ничего не случилось, таинственные звуки подействовали на меня угнетающе. Я ещё пару раз раздевался-одевался, но причину не мог найти. И только когда я нашарил во внутреннем кармане и извлёк тонюсенький листочек бересты, неизвестно как туда попавший, «музыка» прекратилась! «Вот-те и сапоги со скрипом!» – посмеялся я от души.

* разоблолся – разомлел от жара (прим. авт)

НЛО, НХО и другие объекты

Семь лет я сиднем сидел в Мегионе. Казалось, так и не сдвинулся с места ещё столько же. Вдруг звонят из соцзащиты: не хотите ли получить в связи с семидесятилетием бесплатную путёвку на июль в Кисловодск или в Белокуруху. Не колебался, конечно, в Белокуруху – вдохнуть воздух военного детства! Далековато только, за морем телушка полушка, да дорог перевоз! Жена говорит, якобы и проезд оплатит та же соцзащита, социальная программа, мол, в действии!

Отступать некуда, согласился!

А тут и жена как бы ненароком вспомнила: я ж, мол, тоже льготница.

Ладно! Едем вместе.

Потом – внучку решили взять, её мать по "паутине" связалась с санаторием, в который у нас путёвки, и, сколько нужно, оплатила присутствие с нами своего чада...

Дальше больше – старшая дочь решила с сынишкой составить нам компанию...

В санатории расположились мы в двух номерах: мы с внучкой на третьем этаже в просторном двухместном номере, дочь с сынишкой – на четвёртом этаже в одноместном номере.

В итоге – будто из Мегиона и не уезжал! Вид из окна, обстановка да воздух – иное, а ближайшее окружение – без изменений! Впрочем, услуга, питание и новые обязанности: приём процедур!

Диетсестру мы упросили не разлучать нас, и она пошла нам навстречу – посадила за дополнительный столик на пятерых (6-Д).

Мы приехали в пятницу, и нам три дня пришлось питаться дежурными блюдами до понедельника, и это были наши самые мирные обеды...

В понедельник начались проблемы...

Это уже был «заказной» день. Как нам объяснила дочь (она покупала «жильё», «питание» и «лечение» отдельно, поэтому знала, что к чему), каждый «заказной» день стоил дороже «дежурного» где-то на сотню рублей.

У меня путёвка была бесплатная, и мне, как говорится было «бара бир».

Иначе думала моя девятилетняя внучка Ксения!

Я, например, сразу же сказал жене и дочери, чтобы они заказывали мне то же, что и себе – лишь бы грызть не приходилось (обе знали, что у меня проблемы с зубами). У жены обострение тройничного нерва – тоже свои неядства: что-нибудь помягче, не до кулинарных изысков!

Внучка же изучала меню тщательнейшим образом! О чём-то спрашивала у нас. Если мы не могли удовлетворить её любопытство, шла за разъяснением к диетсестре. И, когда ей подавали на следующий день блюдо, она внимательно его рассматривала, сравнивала с меню, уточняла у официантки – что именно она подала, и, как правило, редко что съедала. Неизменным спросом у внуков пользовались вафельные «звёздочки», выставившиеся на «шведском» столе вместе с холодными закусками. Кто-то из нас, взрослых, иногда брал себе из «бесхозного» внучкиного; иногда бабушка брала её порцию с собой в номер, и внучка потом незаметно это съедала во время чаепития. Однако вскоре она взбунтовалась...

Впрочем, свой нрав внучка проявила ещё в день устройства.

В наш двухместный и очень просторный номер, между нашими кроватями поставили для неё раскладушку. Застелили её специальным привязным матрасом и красивым цветным бельём; внучка опробовала постель и осталась довольна. Однако бабушке показалось, что матрац провисает, и через некоторое время горничная принесла дверцу от платяного шкафа, и тут же перестелила с помощью бабушки постель, положив доску на брезент раскладушки.

Едва горничная вышла, внучка и проявила свой «гонор»:

– Я тебя просила?! Спи теперь на ней сама! – заявила она бабушке. – Почему вы всегда, не поинтересовавшись моим мнением, делаете всё сразу по-вашему?! Почему?...

Бабушка опешила:

– Я ж как тебе лучше! О твоей спине... о твоей осанке забочусь!

– О своей заботься! – всхлипнула внучка и стала разбирать постель.

Я приставил дверцу к нашему шкафу: вдруг понадобится? – но она так и простояла там всё время нашего жития в номере.

Внуки в первый же день познакомились с мальчиком лет десяти и его малолетней сестричкой, живущими на нашем этаже; они играли по вечерам на лужайке перед санаторием, а уже после «телемалышей» – в коридорах и холлах са-

натория. Уложить их было проблемой. Я к этому относился спокойно-лояльно, а бабушка шумела: «Это что такое! Время – одиннадцатый час! Здесь вам не пионерлагерь, санаторий: люди лечиться приехали! А вы – разбегались! Спать! То-то потом на завтрак не добудишься...»

Внучка слушалась, приходила, но огрызалась:

– Бабушка! Это вы – лечитесь! А я – отдыхаю! Я – отдыхающая!

– Я вот матери позвоню... Покажет она тебе "отдыхающую! Ты, когда просилась с нами, что обещала? «Бабушка, слушаться буду!» Говорила? Вот и выполняй свое обещание!

Вставал я по привычке рано. Не спеша, принимал душ (сантехника здешняя мне нравилась, безупречная!). Я устраивался у открытого окна, упиравшегося в склон, на котором чудом держались ярко-зелёные сосны, разгадывал сканворды или читал. Процедуры у нас с женой начинались спозаранку и заканчивались под вечер: мы, как многие ушлые «больные», не унижались до просьб «дать» удобное время. У нас было два ключа от палаты, и я иногда, уходя, закрывал спящих бабушку и внучку.

Кормили нас во вторую смену: завтрак в девять, обед в четырнадцать, ужин в семь вечера.

Утром, вернувшись с процедур, мы по очереди, то я, то бабушка, начинали поднимать внучку к завтраку...

– Господа отдыхающие! – с иронией говорил я, – пора готовиться к завтраку и заказу блюд на завтра...

– Спи-спи! – грозилась бабушка, – ничего не принесу! Ни «звёздочки»!

– Заказывать тебе на завтра ничего не будем, будешь питаться дежурными блюдами! – уходя, добавлял я и закрывал дверь на ключ.

Минут через двадцать, когда обеденный зал пустел уже наполовину, внучка всё же соизволяла появляться... И первым делом принималась за изучение меню. Я подтрунивал над нею, что, мол, она только заказывает, а кушать приходится нам: не пропадать же добру. Мы, студентами, говорили: нехай пузо лопнет, чем добро пропадёт. И ещё: сон – залог здоровья, но основное – питание!

Она сердилась и даже пыталась нюнить в платочек или салфетку и сердито говорила: – А вы моё не трогайте! Пусть остаётся! Вот!

– Ты, что ли, как собака на сене, сама не ам и другому не дам! – язвила бабушка.

– Да мне не жалко, – оправдывалась внучка, – нисколечко не жалко, а – обидно! Может, я ещё надумаю съесть, а вы уже своей вилкой в мою тарелку лезете! И вообще: мама заплатила им за питание по заказной системе, так пусть будут добры – выполняют заказы! А то хвастаются: санаторий "три звёздочки"! В Анапе тоже было «три звездочки», но там был шведский стол! А здесь – только закуски, чай да кефир по принципу шведского стола...

Мне и шутить расхотелось: права внучка во многом! Качество блюд (да и обслуживание) были, право, не «звёздные»! Приборы на нашем «дополнительном» часто бывали некомплектны. Часто пятый прибор и даже стул отсутствовали,

мясо подавалось жёсткое, с сухожилиями, почти «субпродукт»! Груши – деревянной твердости, вишня – клюквенной кислоты. Я-то по давней привычке воспринимал всё как должное, а вот внучка – нет! Что хочешь – иное поколение! И это – хорошая тенденция! Конечно, в её возрасте я едва ли так себя вёл. Но как-то достали и меня, когда на ужин вместо чайных ложек дали столовые (не хватало ещё – чтоб «люминивые» дали!), а в рисовом гарнире оказалась... муха. Шума я не поднимал, но высказал администратору все претензии. Изменения были, впрочем, для отвода глаз: зря я «заводился». Внучка мне советовала предъявить иск «за моральный ущерб». Себе дороже, серьёзно отказался я.

Раздражал внучку своими пристаиваниями и двоюродный братец, ведший себя за столом, мягко говоря, не лучшим образом (порой после его выходов – хоть сквозь землю со стыда проваливайся!). Но дети есть дети: за день они успевали не один раз поссориться, а затем мило помириться «миришь-миришь-миришь, больше не дерись! Если будешь драться, я буду кусаться...».

Болезненно и серьезно, близко к сердцу принимала детские конфликты, мелкие и мимолетные ссоры, не говоря уж о настоящих драках, бабушка. Она то и дело взывала к их совести и попрекала:

– Что обещали, когда просились с бабушкой? Забыли? Умоляли: слушаться будем, баба-люля! Зачем же всё поперёк делаете?!

У меня с внучкой были доверительные отношения. Она знала, что я родился на Алтае, и военное детство моё прошло не так уж далеко от этих мест. Я охотно отвечал на её порой неожиданные вопросы. Рассказывал, в какие игры мы играли. Во что одевались, что кушали. Какие отношения у меня были с друзьями, с братом и сёстрами, с взрослыми.

– Зимой мы сидели по домам, как запечные тараканы. Было у меня два закадычных друга – Мишка Гречнев и Витька Соколов. Мы с ними однажды по-настоящему белены объелись – слыхала такое выражение? А было вот как... – вспоминал я (внучка аж округлила глаза!). – У нас по Косихе протекала речка Лосиха. На ней была гидроэлектростанция (сейчас уже нету). Мы жили ниже её плотины. Весной, во время ледохода, речка была бурная и подмывала берега. У нас считалось высшей доблестью стоять до последнего на подмытом краю берега: перепрыгивать через шириющуюся трещину, когда уже земля уходит из-под ног! Ох, и волнительно! Если мать увидит, трёпки не избежать! Нам всем троим, нравилась одна нарядная девочка из эвакуированных, перед ней мы и выхвалялись. И вот ухнул с оглушительным всплеском подмытый берег, а в свежем обрыве обнажились белые сочные корешки, вроде хрена. Попробовали: сладкий! Я не жадный был, поэтому мне досталось меньше всех. Зато я и отделался легче всех – тошнило, да голова болела, а Мишка с Витькой в беспмятство впадали, на стену лезли. Мораль поняла? – Поняла... – протянула, смеясь, внучка, – не жадничай!...

– Молодец! Правильно поняла! – сказал я и продолжил: – С этой поры, с ледохода, нас уже домой не загонишь! Ходили в увалы – сухую траву поджигали.... Подснежники собирали... Березовый сок пили...



Ксения

Пучки... Борщевики... Ягоды... Земляника сначала... Но это – уже лето! Дожди!... Ливни! Мы с Мишкой напротив жили, как ливень – мы на улицу и – по лывам с воплями плясать: «Дождик-дождик, пуще! Дам тебе гущи!»

– А что такое лыва? – Да у нас так в Косихе лужи звали! Но – не грязные, а – в траве-мураве! А дождик тёплый, летний! И мы – в лыве! С улыбками! Да... А потом из-за пустяка – раздерёмся как будто на веки вечные! Заберёмся на чердак и в слуховое окно выглядываем, дразнимся... И тут же что-нибудь придумываем: спускаемся и опять – не разлей вода... Вроде того, что – на наш огород, которым ведала мамина мать, баба Паша, по-пластунски набег сделать.... И к Гречневым делали такие «культпоходы», и к Соколовым... Ой, стыдно вспоминать! Но, видно, такова уж мальчишечья порода! Я ведь и бабу Пашу, смутно помню, дразнил как-то нехорошо: помнится, она клюкой грозила. Так что ты, Ксюшенька, Кольку-то уж терпи: перебесится! Он же не со зла! И ещё. Это, конечно, больше бы к Кольке, мы со своими не дрались, как вы. Помню, что старший брат иногда поступал неправильно, но я терпел. Как он меня учил плавать? Держись, говорит, за плечи и ногами бултыхай. И заплыл на глубину, а сам нырнул и... плыви, Витя! Сколько воды я наглотался, уж и не помню!

– Вот! – обрадовалась Ксюша, – ты-то старших – уважал! Слушался! Даже терпел несправедливость! А они – меня, старшую! И не слушаются и не понимают! И Колька, и Маша! Я уж и так, и сяк: им навстречу!

– Ой, не ври: а то я не видел: провоцируешь ведь иногда! – пенял я самокритичной внучке. И она сразу, как улитка, пряталась в раковинку...

Наши претензии к поведению младших, бесспорно, казались нам справедливыми, и нам было непонятно, почему они принимались с обидой, а то и с плачем.

Отпросилась, скажем, Ксюша со знакомым мальчиком и его семьёй куда-то в горы в пеший поход (у меня проблемы с суставами, поэтому я составить компанию им не мог, но по предыдущим хождениям знал, что поход интересный). Но, видимо, отстали от группы, и пришли очень поздно, Конечно, мы переволновались.

Я бы на месте внучки – сразу к бабушке: «Баба-люля! Мы ж не специально! Нечаянно! Там так хорошо: мы – засмотрелись!..»

А она, без чувства вины, с восторгом начала рассказывать про поход – как они кормили с рук бурундучков, белочек... Ей в ответ – мораль читают! Она обиделась, замкнулась. Мы с бабушкой – тоже...

А вскоре она поставила меня в тупик.

После одной бабушкиной проработки (меня уличили в нарушении санаторного режима, внучку тоже в чём-то), сидели мы вдвоём; каждый занимался своим делом: я углубился в очередной сканворд, она – что-то писала в привезённой из дома толстой тетрадке и одновременно щёлкала пультом телевизора. Дело было после мирного завтрака.

Сканворд был не из лёгких, и я на какое-то время отключился. А когда вер-

нулся в реальность, вдруг услышал нечто вроде монолога! Без привычного обращения «деда» внучка говорила мне (не себе же!) что-то давно уже начатое:

– ... НЛО! Неопознанные или непознанные? Летающие объекты... Они всех интересуют! Чуть что: О! НЛО!.. А дети их не интересуют! Как будто дети – куклы! Игрушки! А они – тоже люди! Тоже – объекты! Тоже – непознанные! Только не летающие, а – ходячие! Рядом! Лежащие! Под боком! И – непонятые...

В её голосе появилось нечто не понравившееся мне и я встрял:

– НХО! ЭНХАО!

Ксюшка, внучка моя, умница, сразу же откликнулась на мою реплику:

– Да! Пусть НХО! Ходячие... или ходящие? Не важно! Но непонятые... непознанные... это – точно! Разве не так? Вы же с бабушкой... Да, ты, деда, тоже! Вы же все ко мне... как глупому несмышлёнышу... как к ребёнку... у которого нет желаний кроме как поесть-поспать-поиграть... Не так ли?.. А я – человек! Такой же, как вы! Я ещё для себя – НЛО, но и для вас – тоже! Вот... – и она укрылась, переключив, однако программу.

Некоторое время я молчал. Потом подошёл, обнял её: «Чадушко ты моё! Как ты, однако, повзрослела! Ну, так и не принимай всё так прямолинейно к сердцу. Гляди на мир проще и естественней. И – с самоиронией. А сейчас перестань быть НЛО: Неподвижно Лежащим Объектом, стань ВЖС: Веселым Жизнерадостным Субъектом. Пошли дышать воздухом моего детства.

Осенние виражи

В Малышовке каждое изделие из железа было роскошью. Что уж тут говорить про коньки!

У нас хоть и были «снегурки», привезённые из Косихи, да что толку: не привернёшь же их к лаптям! Ботинки и сапоги у нас сносились, и мы ходили как все малышовцы – в липовых лапоточках.

И всё же малышовская пацанва нашла выход.

Году в 48-м возле деревни Карташово появились нефтяники. Кто-то из малышовских мужиков устроился к ним и зимой натрелевал себе лесу на новую избу с помощью трактора и стальных тросов, – вот куски-то тросов, сплетённых из проволочек разного диаметра, и выручали нас. Из этой проволоки делали мы гвозди, рыболовные крючки, сапожные шила и... коньки, вернее – лезвия коньков, сами «коньки» вытёсывались из берёзовой чурки. Процесс изготовления был трудоёмкий и требовал определённых навыков и мастерства, но этого нам было не занимать. К приходу Покровских морозов надо было приготовить не только «коньки», но и «толкач» – так мы звали палку с острым наконечником (на лутошку насаживалась гильза охотничьего патрона, а в капсульное отверстие загонялся остро отточенный гвоздь). И едва старица Зилима и омуты нашей речки покрывались тонким, но гибким чёрным (таким он казался – грифельным!) льдом,



вся малышовская ребятня вставала на «коньки». Если бы не школа и домашние обязанности, мы бы, верно, днями носились по проседающему – аж фонтанчики воды возле стеблей камышовых брызгают! – чёрному, как школьная доска льду, оседлав скакунов-толкачей: певуче разлетаются сколотые льдинки, поскрипывают сырмятные или лыковые крепления...

Интересно, что мы, кроме салок, в другие игры на льду не играли, – просто наслаждались движением, скоростью... Притомившись, наблюдали жизнь водоёма: были видны жуки-плаунцы, замершие или медленно плавающие, тускло поблёскивающие окуни, налимы, устланное липовыми, вязовыми, ивовыми и черёмуховыми листьями уходящее вглубь дно. Возле рыбацких лунок замёрзшие вьюны, водоросли; видны крылья и рёбра вентерей. На старице тихой с внутренней стороны вязы-великаны с черёмуховым и ильмовым подлеском, снаружи она обмыкается высоким берегом и громадными осокорями. Одна беда – далековато, да и кататься можно только до ноябрьских снегопадов...

На Речке некоторые бочажки и в ноябре снегом не заносило, но все они были небольшие и после старицы казались тесными.

Бочажок возле родничка был самым просторным, но он застывал в последнюю очередь: если он покрывался льдом, значит, настоящая зима была уже на носу... Лёд на этом бочажке был неодинаковой прочности: чем ближе к родничку, тем тоньше. Объяснялось это тем, что температура родниковой воды была одинаковой и летом и зимой, летом она была холоднее речной, зимой – теплее. Поэтому сам родничок даже в Крещенские морозы не замерзал, курился – будто дышал... Там, где он впадал в Речку, и до самых морозов осока и рогоз зеленели.

Интересно было на этом бочажке кататься, хоть и тесно было – вдвоём не разъедешься: восьмерку кривую приходилось выписывать. И то – когда посередке восьмерки проезжаешь, чувствуешь, как лёд под тобой упруго прогибается, и чувствуешь, как ознобисто-весело ёкает что-то в груди. И всё равно так и тянет расширять и утолщать эту цифру... Вот уж и фонтанчики возле осок разноголосо забулькали, а всё тянет и тянет желание превратить восьмёрку в ноль...

Выписывал я однажды, таким образом, восьмёрки, выписывал, да и...

– Ух!.. – провалился... Будто кипятком обожгло!

Ладно, неглубоко там было – по горлышко... Обламывая лёд, ничего не соображая, выбрался я на берег к родничку, а потом и наверх по дорожке мимо тахтаровской бани. Холода я всё это время не ощущал. И только подходя в своей избе, вдруг почувствовал внутренний озноб и услышал, что моя заледенелая одежда гремит, как стеклянная.

«Влетит теперь от мамки! И правильно!» – обречённо казнил я.



Родничок

На нашей, восточной околице Малышовки, был родниковый ключ или родничок, чистый, обильный, незамерзающий. На нашей Речке наверняка били ещё родники, но где-нибудь в самом русле, а наш – наш был чуть в сторонке от Речки, на мыске, образованном речкиным крутояром и глубоким оврагом, уходившим далеко за околицу почти параллельно Речке; выходил он метра на полтора выше летнего уровня воды в Речке и сбегал к ней весело журчащим прозрачным ручейком.

Многое у меня связано с родничком. Но сейчас мне вспомнился случай произошедший со мной зимой сорок девятого года, во время зимних каникул.

Управившись по хозяйству, решил покататься на санках. Дома одному скучно, мать с сестрёнкой куда-то ушли по делам. Глянул: ни на той горке, ни на другой, возле Матвеевны, никого... Буду кататься на своей: по склону оврага в сторону тахтаровской бани. Покатался: неинтересно. Стал осваивать новую горку, за оврагом, в сторону родничка, вдоль берегового крутояра, ниспадающего к родничку волной. Постепенно, постепенно – натерил спуск с выездом на речку. И прямо, и на коленках, и на животе – по всякому накатался! Домой уж собрался да как будто кто надоумил: "Прокачусь-ка на спинке напоследок-то!" Неудобно лежать, но ничего: взялся руками за копылки санок, оттолкнулся – отталкиваться-то зато как хорошо! – и поехал...

Вдруг – бумс! – искры из глаз и горячая боль в затылке...

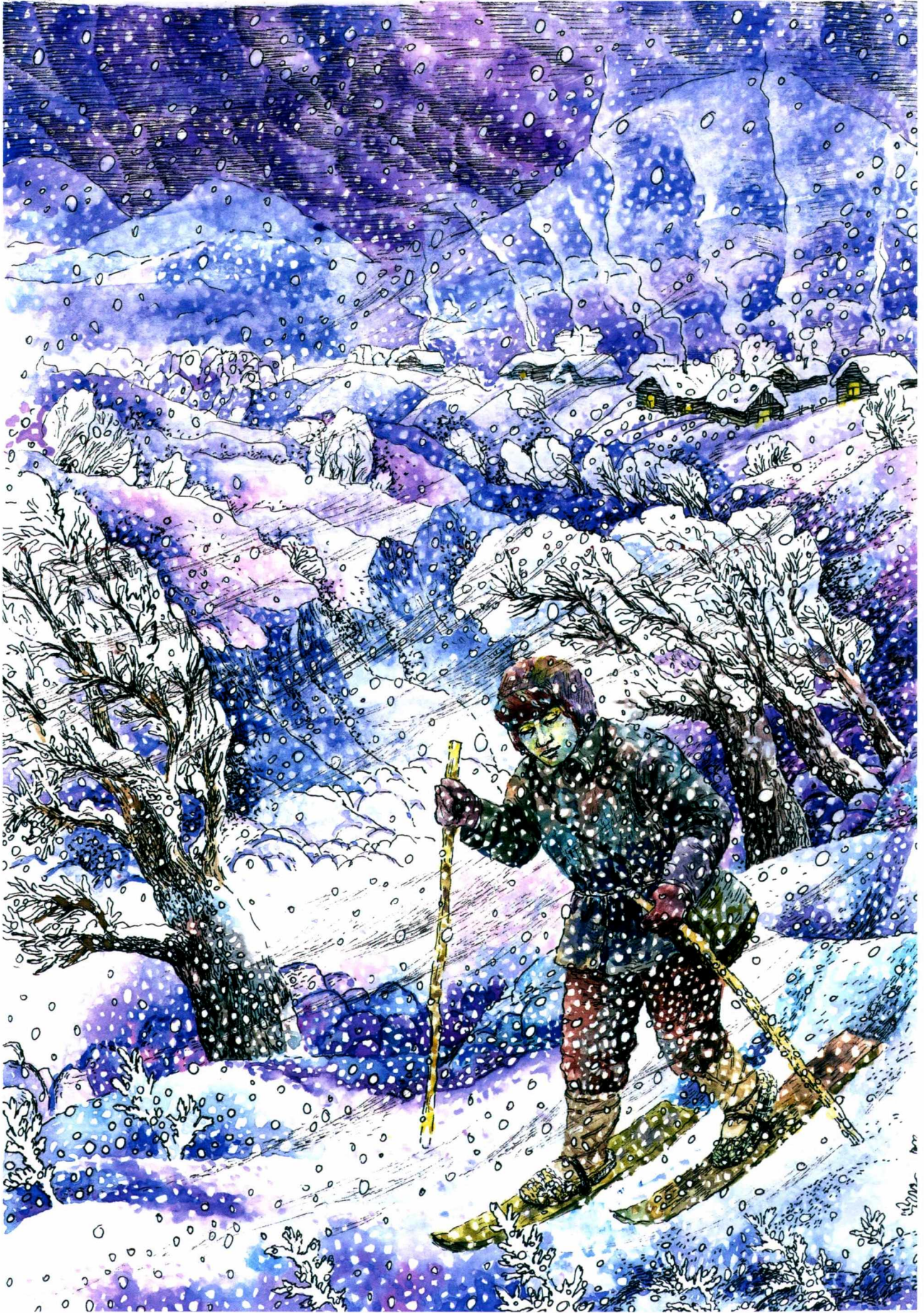
Когда пришёл в себя, понял, что я – в обледенелом жерле родничка, и от неминуемой гибели меня спасли на совесть сработанные мной из вяза, берёзы и черёмухи крутошеие санки: они смягчили удар и, выдержав его, застряли, благодаря чему я завис над самой поверхностью весёлой, ничего не подозревающей родниковой воды, а не воткнулся головой в родниковое дно. Боясь шелохнуться, я осмотрелся. Прямо перед глазами, будто я в зной наклонился испить водички, незамутнённо возникали и гасли песчаные пузырьки... Матово светились стенки родниковой "пролуби"... Весенним ручейком журчал неслышимый снаружи родничок... "Что будет, если не выберусь?!" Я представил себе торчащие свои ноги в лапотках и меня охватил ужас. "Господи, спаси!" – взмолился я и стал, извиваясь, выбираться...

О своём необычном спуске я никому не рассказывал.

С попутным ветром

В пятый класс я ходил в село Красный Зилим, за семь километров от нашей Малышовки.

Однажды я почувствовал, что лицо у меня горит, будто перцем натёртое (было такое дело прошлым летом: побаловались, а потом хоть плачь!). На тре-



тьем уроке классная руководительница Зоя Михайловна потрогала мой лоб прохладной рукой и немедленно отправила меня в амбулаторию. Добродушный рыжеусый фельдшер, похожий на нашего конюха, заставил высунуть язык, сказать «а», оттянул веки, спросил чем я болел, и поставил диагноз: «Корь у тебя, братец! Гуляй домой, пока не поправишься. Ты откель будешь?..» Выписал мне справку, дал тут же выпить какую-то микстуру и таблетку, дал и с собой, объяснив, как и что.

Забрав сумку, я пошёл на «квартиру» (я в самые морозы квартировал у тётки Устьи, дальней родственницы по матери) и, сложив в котомку необходимые книжки, тетради и вещи, встал на самодельные свои лыжи и отправился «до дома, до хаты».

Была середина февраля. Погода была вьюжная. За селом, на чистине, мела попутная позёмка. Лыжи скользили хорошо. Холода я не ощущал и уже подумывал – не распахнуть ли мне ватный бушлатик? Тогда меня ветер понесёт по снежным застругам, как по волнам! «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...» Очень уж нравилось мне это стихотворение. А позёмка усиливалась... Вот уж и снег повалил... Кромка урёмы, темневшая слева, растворилась... Всё как в тумане стало – только не в голубом, а в белом... Мне было жарко, но всё же хватило ума не «поднимать» паруса.

И хоть не было видно ни зги, и шёл я по целине, заблудиться я не боялся: места эти мне были знакомы, и у меня было уверенное ощущение себя во времени и пространстве, и я продолжал экономно скользить по застругам и шагать по рыхлому снегу. И уже в заустенье малышовских вётел, от которых до дома рукой подать, я испытал панический ужас, справляя под ними малую нужду: из меня текла красно-фиолетовая, похожая на учительские чернила жидкость...

Экскурсия

В сорок девятом году, перед самой Троицей, получив, после четырёх экзаменов – по русскому языку и арифметике (устно-письменно), свидетельство об окончании Покровской начальной школы, вместе с директором школы Петром Яковлевичем мы отправились на экскурсию по родному краю. Было нас, красноярцев и малышовцев, двенадцать человек в возрасте от одиннадцати до лет семнадцати. Кроме меня и двоих «вакуированных», большинство дальше Ирныкшей (там была церковь), и Красного Зилима (мельница, амбулатория, сельсовет) и не бывали, паровоза не видывали, радио не слыхивали, не говоря про что другое, например, про танки, пушки, самолёты, которые довелось видеть мне в сорок пятом году во время переезда с Алтая в Башкирию.

Собрались мы в Красноярске, в школе, с узелками, холщовыми сумками, в которых были подорожники, запасная одежда или обувь, сами мы были в летней форме – босиком. Ситцевые рубашонки, нанковые, парусиновые, а то и кра-

шенные крушиной холщовые штаны (портки, по-малышовски), – всё чистое, выходящее. И фуражки – без них деревенскому парнишке в походе делать нечего: ни напиться из бочажины, болотца или ручья, ни от солнца не защититься. Девчата – те выглядели, в сравнении с нами, боярышнями: в нарядных платочках, в ярких сарафанах, в домотканых шерстяных юбках, в вышитых кофточках с кружевами и воланами, в башмачках, тапочках, на худой конец – в лапотках, в узорных вязаных носочках... Пётр Яковлевич – в офицерских сапогах хромовых, в галифе, в синей косоворотке и «костюме» (так у нас звали пиджаки), с полевой сумкой, к которой приторочена скатанная плащ-палатка.

Выслушав инструктаж: «Ворон – не ловить! Не отставать! Вперёд не забегать! Нужду справлять коллективно: на привале. Глаза – разинуть, уши отворить, дабы душой приять виды и звуки родной земли», – двинулись гомонливой стайкой лесной дорогой вдоль Зилима в сторону деревни Калташихи, расположенной рядом с местом впадения Зилима в таинственную реку Белую. Зашёл спор: Белая – в самом деле, белая или просто так.

Я и на поезде через Белую возле Уфы по железному мосту проезжал, но точно не мог сказать: белая она – Белая или просто серебристая была при луне? Мой сосед, переросток лет восемнадцати, Колька Жерновков утверждал, что раз «белая» – значит белая! «Названья – они соответствуют предмету! – с пафосом говорил он ломким баском с ударением на первом слоге слова предмет. – Вот у вашей Красноярки есть красный яр? Есть! От того и Красноярка. Наша деревня маленькая? Маленькая. Потому и Малышовка. И так везде, чай, и во всём, потому как – всё должно соответствовать всему!» Колька был одноклассником моему старшему брату, который учился в Уфе в техникуме и должен был приехать на каникулы после какой-то «сессии». Брата я ждал с нетерпением: он написал, что купил мне для пятого класса учебник какой-то и... «кустумчик»! Приедет он, вот тогда я фикстульну! «Эх, сейчас бы его мне надеть – на экскурсию!» – сожалел я. Вступать в спор с Колькой я не стал, спорщик он был заядлый! Они куда-то ездили по «гербовке», и он будто бы даже был учеником слесаря. И пришёл он к нам сразу в четвёртый – выпускной класс, чтобы получить свидетельство об образовании; к нам он относился свысока. И сейчас, высказавшись, он вытащил кисет с самосадам (наш табачок-то! – с каким-то злорадством отметил я, соседи табак не сажали! Потому как выращивать его – одна морока), кремень, кресало и трут – чтоб прикурить «козью ножку». В Малышовке мы все эти причиндалы имели и умели ими пользоваться, так как все годы моего детства в этой деревне, не имевшей ни магазина, ни чего-либо другого из так называемой сферы обслуживания, спички были драгоценным товаром и тающим, как соль... Кремень, кресало и трут могли заменить спички. Зола, самодельное мыло из ливера или дохлой скотины могли заменить мыло, соль – ничто кроме соли не могло заменить! Вернувшиеся с войны мужики, и здоровые и инвалиды, проблему огня решили – привезли зажигалки. Вот и Кольке Жерновкову – как Николаю Батьковичу! – сам директор зажёт зажигалку: дал прикурить!...

Вся наша роящаяся, шумливая бригада вдруг примолкла и возможно притормозилась. «Что-то в нашей жизни, видно, произошло, раз ДИРЕКТОР дал прикурить ученику. Пусть не со всеми, но – всё же!» – наверняка многие подумали. Следующие слова директора укрепили их в своей мысли и возвысили в своих глазах.

– Ипташляры! – сказал Пётр Яковлевич (по-башкирски-то ого! Товарищи, друзья!), – скоро все Белую увидим, и вопросы сами собой отпадут.

И в самом деле, Белая оказалась речка как речка: голубовато-свинцовая, с прозеленью, вся в продолговатых, словно ивовые листики, рябинках, – как и Зилим на тихояре, только гора-аздо шире Зилима! Не только в ширине ощущалась разница, но и в какой-то стержневой, глубинной мощи, в притягательной силе кручёного быстрого стержня...

Паром был на той стороне. В ожидании парома Пётр Яковлевич объявил привал.

Мы расположились под раскидистой ветлой (про баобаб мы тогда не слышали, но это была ветла-баобаб!) Под её сенью, кроме нас располагались несколько семейств башкир с вьючными лошадьми, телега со свежескошенным сеном, начальственная запылённая эмка и группа табынских богомольцев. И всех и не упомянешь!..

Девчата расстелили чистую холстинку, разложили свои припасы; остальные выставили тоже всё, что у кого было... до этого два года была жесточайшая засуха, люди с голода пухли и мёрли, поэтому я не буду живописать – что было на разостланной девчатами скатерти-самобранке.

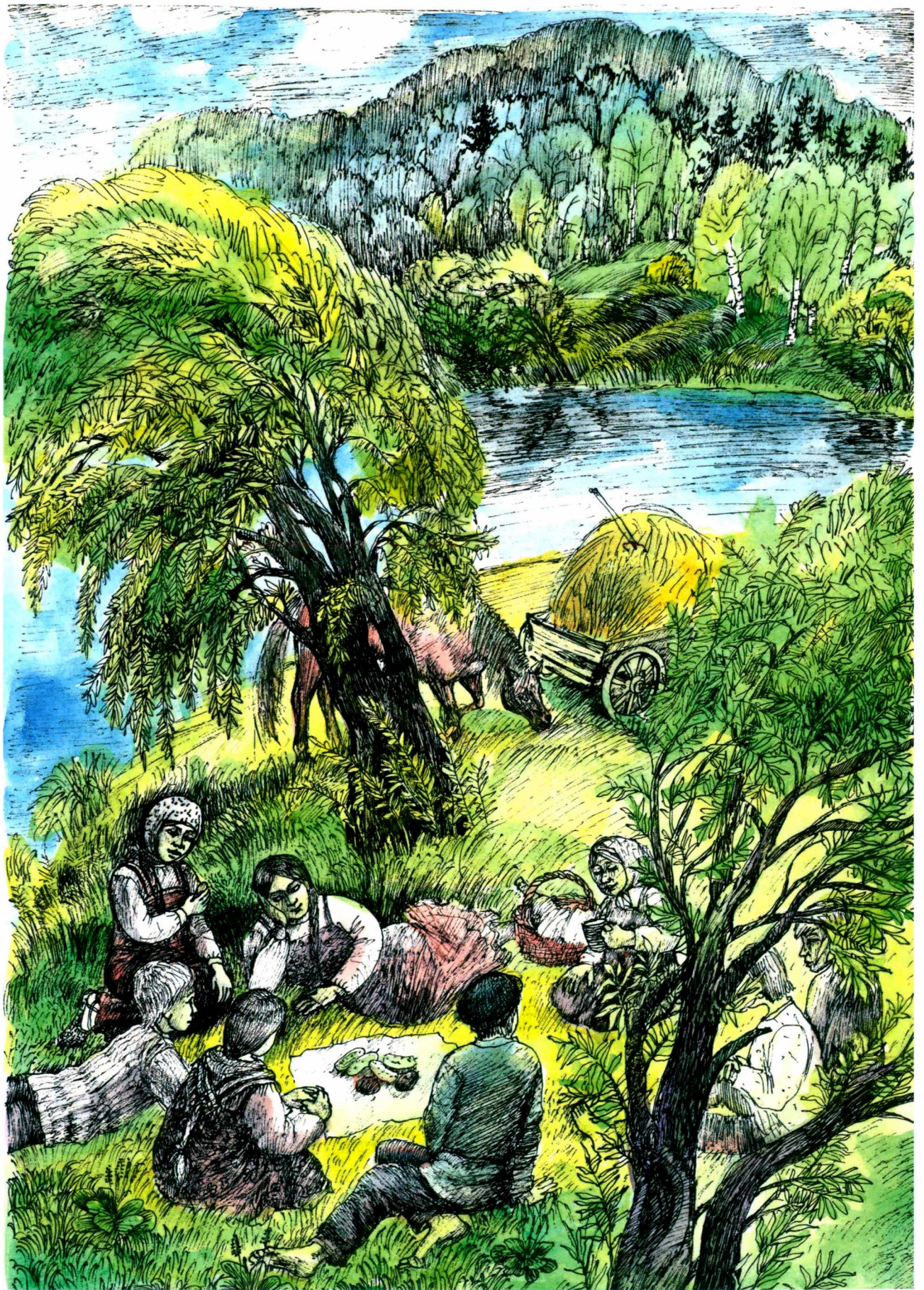
Экономно, даже чинно, памятуя о предстоящих ужине и завтраке (предполагалась ночёвка), мы перекусили. Испили водицы. Кто-то раскинулся на притоптанной травке, кто-то пошёл к реке: "Не купаться!" – повелительно сопроводил его командирский голос Петра Яковлевича, а кто-то и к Николаю Жерновкову присоединился – закурил... Однако директорской зажигалки они не сподобились: прикуривали от трута...

Подошёл паром... Физики, разложения сил мы ещё не проходили, но принцип, по которому движется паром туда – сюда поняли: за счёт руля! Течение руль парома на излом берет! За счёт этого и толкает паром...

И вот – главный объект экскурсии: сахарный завод!

Издали видна высокая труба котельной. Кирпичный заводской корпус... Длинные, штукатуренные бараки, белёные извёсткой (такие я видел через двадцать шесть лет возле Старого Надыма в заброшенном лагере бывшей 501-й стройки).

Сахарный завод был на ремонте: готовился к приёму сахарной свеклы нового урожая. По заводу нас водила технолог, показывала и объясняла – как происходит извлечение сахара из свеклы и превращение его в белые иссиня кристаллические комки... Один белёсый угловатый кусок она чайными щипчиками расколола на остроугольные кусочки и дала всем нам попробовать...



(Я и сейчас уверен, что комковой сахар, изготовленный по той технологии, самый вкусный – не то, что рафинад или белоснежный сахарный песок).

После дегустации продукции завода, нам показали большую комнату в бараке, где мы будем ночевать после похода на железнодорожный разъезд, и завели в магазин...

В Красноярске магазин («лавка» по местному) иногда работал – когда привозили соль или керосин; в Красном Зилиме магазин работал постоянно, но товаров в нём было раз-два и обчёлся, а тут...

А тут – всё, чего душенька может пожелать! И пряники, и печенье, и повидло, и халва, и конфеты всякие... Колбаса!... Икра!.. Рыбы всякие! Но – цены! Чему, чему, но устному счёту нас в Покровской школе научили! Были бы денюжки, всё можно купить в этом магазине! Беда, что та-аких денюжек нам и не снилось!

Нам на троих платили за погибшего на фронте отца, старшего лейтенанта, 480 рублей. Я это знал. Но я знал, что с нас брали налоги и денежные, и мясные, яичные, шкурные, масляные, молочные и ещё Бог знает какие. Поэтому, когда мать снаряжала меня в поход и стала навяливать мне взять с собой денюжек, я отказывался. «В дороге мало ли что будет!» – и сунула мне десятку. Вот с этой десяткой во влажном кулаке и стал я прицениваться к «товару», имеющемуся в столь шикарном магазине...

И я выбрал «товар», подходящий по цене, и почти знакомый по названию: рыбные молоки... После мучительной душевной борьбы, я не выдержал и попробовал свой «гостинец»... Ощущение было подобное тому, как если б я хотел окатиться тёплой водичкой, а опрокинул на себя только занесённую колодезную... Голимой солью были эти молоки! «Мило не мило, а купил – так ешь!» – вспомнил я поговорку мамину, и мудро рассудил: «С несолёной картошкой – пойдёт так, что за ушами трещать будет!» И оказался прав!

До разъезда «Сахарный Завод» мы шли по шпалам часа полтора: семь километров! По шпалам идти трудно: с шага сбивались. По рельсам – тоже долго не находишься! Поиграть – другое дело – поиграть можно, но идти... Но – дошли! Ни деревца – одни полосатые столбики.

Станцию почуяли издалека по гамме запахов...

Запахи были противные, странные, волнующие, дикие, раздражительные, пахнувшие серой, ветеринарной карболкой – от пропитанных креозотом штабелей шпал, от стоящих составов нефтяных цистерн, от горок каменного угля.

Трудно поверить, но ведь это было! В Малышовке мы наслаждались естественными запахами природы! Два-три раза за лето через Малышовку проезжали райкомовские «эмки», но их выхлоп был чрезвычайно приятен и сахаринисто сладок, так что мы бегали за машинами вдогонку, чтобы подольше подышать его сладковатой дымкой...

Впервые ударивший мне в ноздри весной сорок шестого года острый запах силоса был ужасно неприятен; отвратен – но я тогда ещё такого определения не знал – и назвал его – «силосный»!. После вскрытия силосной ямы в марте, если

ветер был со стороны Красноярки, я по дороге в школу – по Малышовке до моста через Речку шагов пятьсот (считал не раз, да сбивался) и – по дороге от Конного Двора до Правления колхоза в Красноярке (там же и лавка) – почти две тысячи шагов. До школы оттуда – двести шагов. (По географии проверяли – от крыльца до крыльца – сто метров!). По сему, младший брат Николая Жерновкова, выше его ростом толстяк, ощущая моральную поддержку брата, выфикстулился: «Петря Яковлич! Полста сажений!» «Чего? Куда? – осадил его директор. Он его старшему брату давал прикурить, но не ему же! Вы... это, мужики! – ко всем – голос, интонацию скрипучей боли, – всё это до сей поры запомнил, – а вот взгляд, мимику лица, – могу только вообразить: видимо, я тогда смотрел куда-то в сторону. Так вот, Мужики! – сказал Пётр Яковлевич, – по запаху можно предсказывать погоду! Если к нам, – может замечали? – дует отсюда – с сахарного завода...»

– То чай будет сладкий? – пискнул кто-то из красноярцев.

– Почти угадал! – не стушевался директор. – Чай не чай, но воздух, если с утра не спать, то воздух – точно: сладимый!

На наше счастье на разъезде стоял, добродушно почуфыкивая в седые усы, паровоз с пустыми цистернами; от его чёрно-лакового, лоснящегося, жаркого крупа, подрагивающего от нетерпения, веяло мощью и силой необъезженного коня, и мы боязливо-восторженно осматривали его...

Пётр Яковлевич переговорил с машинистом, и мы медленной цепочкой прошли через кабину на другую сторону паровоза, девчонки – с ахами «Мамыньки!», ребята – молча, отчаянно, словно заглянули в преисподнюю: кочегар как раз надумал подкинуть в топку угольку.

Отойдя чуть в сторонку, мы уселись на откосе и стали ждать отхода состава. Пётр Яковлевич объяснял принцип работы паровоза и вообще рассказывал, пользуясь случаем, о многом, в частности, о законе перспективы: многих занимало слияние рельсов вдаль в одну линию, может, даже больше, чем устройство паровоза.

Вдруг паровоз басисто рывкнул, распушив по-будёновски усы паровые, чуть сдал назад – набатный металлический звон пробежал по составу, не успел он отзвучать – паровоз, буксанув, потащил сцепку вперёд, чётко выговаривая: чуф-чуф-чуф, издав протяжный гудок, зачастил: чу-чу-чу!

Проводив его взглядом до самого горизонта, мы двинулись в обратный путь на сахарный завод, где и переночевали в барачной комнате на полосатых ватных матрасах. Спали беспокойно; это и понятно: уйма впечатлений! Донимали также клопы и казённый запах матрасов и барака: дома мы спали на тюфяках, набитых овсяной соломой или сеном, а под головы клали пучок полыни.

На следующий день, ещё раз переправившись через Белую (и совсем не белая!), мы попали на буровую, которая сверлила скважину в земле возле деревни Карташово. Грохоту, звону, рёву моторов и копоту там было не меньше, чем на железной дороге и столько же непонятного и слуху, и нюху, и взору. Буровой мастер, пожилой весёлый дядька, показывал разные железяки, называл их: долото,

трубы, ротор, вышка, лебёдка, кронблок, глинистый раствор и говорил, для чего они. Желаящих провёл по буровой, разрешил слазить на самый верх вышки (я хоть и привык лазать по деревьям, но и у меня закружилась голова: нас, желающих, оказалось только двое). Всё поражало: как люди управляют с такими тяжеленными железяками? почему земля не заваливает такую дырку? как может держать стенки глинистый раствор (кстати, такой же белой глиной у нас в Малышовке печки белят)? И многое другое.

Буровой мастер оказался коварным человеком! Угостив нас после экскурсии по буровой кукурузными рассыпчатыми пряниками, он устроил нам форменный экзамен: это как называется? А для чего? Многие тушевались, мялись... Дошла очередь до меня. – Это что? – спрашивает. – Долото, – говорю. – Какое? – Рыбий хвост! – смеюсь. – Так. А это? – Жёлоб! – Для чего? – Чтоб раствор тёк из скважины...

– Молодец! – говорит. – Будешь буровиком!

... И ведь как в воду глядел тот буровой мастер: стал я в конце концов буровиком! И многожды я испытывал радость и самое настоящее счастье, которые доступны только буровикам, но и не раз и не два проклинал я тот день, когда связал свою судьбу с бурением.

Что случилось с другими участниками той экскурсии и живы ли они сейчас, я не знаю: слишком поздно вспомнил о них. Впечатления же от похода – неизгладимо свежи и ярки, как будто это было вчера. Несколько человек поступили в пятый класс, и по пути в Красный Зилим мы часто вспоминали подробности нашего похода по родному краю.

Стрижка «под машинку»

За лето мы, пацанва, обрастали волосами так густо-дремуче, что взрослые шутили: нет бы, де, руно у овец так быстро росло... и перед школой карнали наши выгоревшие вихры большими пружинящими ножницами для стрижки овец. Чувствовали мы себя после этого (да и выглядели, верно) непривычно, не лучше свежестриженных ягнят.

Малышовская детвора училась в соседней, за два километра, Красноярке, в Покровской начальной школе. На все четыре класса было два учителя: Елена Васильевна и Пётр Яковлевич (он же директор школы). Была ещё школьная уборщица Марта (из эвакуированных, эстонка). У каждого из учителей было по два класса, занимались в одной комнате – первый с третьим, второй с четвертым; каждый класс занимал свой ряд парт.

Директор был суров: ходил в офицерском обмундировании, в хромовых блестящих сапогах. Он знал всё! Учил нас определять время по настенным с боем, школьным часам. Рассказывал – и сам пел! – про гимн страны: «За границей, когда наши послы встречаются с иностранными, т.е. заграничными, «сталиными»,

стоя смирно, поют: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь...». Я всё это представлял и у меня аж мурашки по коже бегали. Мы в Малышовке не получали ни одной газеты, у нас не было радио (об этом никто и не знал, это мы, приехавшие из Сибири – у нас-то в Косихе и радио было, и электричество). Когда и привозили передвижку (динамку крутили вручную!), многие и взрослые удивлялись – звук-то откуда? Какой-то ушлый пацан объяснил: «Они-эт в особый мешочек наговаривают, а посла – выпускают байки-т эти...»). И такому «контингенту» Пётр Яковлевич в своё время попытался что-то прояснить про американскую атомную бомбу, про Хиросиму и Нагасаки. И наш ответ...

Осенью, после торжественной линейки, мы несколько дней собирали колоски на сжатых вручную ржаных загонках и убранных комбайнами пшеничных полях. Потом начинались занятия. Мне брат из тонкой медной, с волосок, проволоки сделал «вечное» перо: пружинку из этой проволоки прикрутил к перу простой ученической ручки, и таким пером можно было, не макая писать полурока. Чернильницы носили не все, и макание у соседа с другой парты допускалось только с позволения учителя. Поэтому я со своим «вечным» пером всегда сидел у стенки. Да к тому же я научился делать чернила из свеклы (красные) и из крушины (чёрные) и часто таскал чернильницу-непроливашку, доставшуюся мне в наследство от старшего брата. Так, на всякий случай. Для соседей.

Дав задание и проверив предыдущие, учитель переходил к старшему классу...

Я пошёл в школу восьмилеткой. Когда я был во втором классе, в соседнем ряду, т.е., в четвёртом классе, некоторые уже женихались. И пока нам Елена Васильевна объясняла новую тему, они обменивались впечатлениями о вчерашней «вечёрке» – так у нас назывались в Малышовке посиделки молодёжи в чьей-нибудь избе, в которой собирались девушки с рукодельем.

Закончив с нами, Елена Васильевна обратилась к «женихам». Они – ноль внимания: продолжают обсуждать, с задорным ржанием, вчерашние подвиги...

Это было в сентябре 1948 года. С тетрадами уже стало полегче: в клетку и в линейку уже и до Покровской начальной школы стали доходить, а вот в косую линейку – не хватало! А у нас тогда был такой предмет как чистописание! И учителя, в свободную минутку, графили обычные тетради в линейку; пользовались они узенькими четырёхгранными линейками. (Я и сейчас вдруг ясно услышал эти характерные звуки: чщу..! – карандаш, грум – линейка перевернулась на следующий бок. Чщу-грум..).

Елена Васильевна этой линейкой в гневе и съездила по затылку одного из «женихов». Тот, обернувшись, не долго думая и сказал: «Ты что, ...?!»

Елена Васильевна, замерев на секунду, вдруг заплакала и кинулась вон из класса... Оба класса замерли...

Не очень давно, когда уже начались дожди и солнышко изредка заглядывало к нам в Малышовку, я с грустью наблюдал кружение огромных тополиных



листьев, их выверты, нежелание упасть на землю, где их тут же затопчут... они – почти что со страницу! Я несколько штук их взял, заложил в книгу... Я часто уходил домой не по дороге, а через выгон и замечал там грустное изменение жизни: муравейники странно скукожились; даже кисточка томлёной крупники возле него вызвала во рту какое-то щемящее, судорожное ощущение...

И вдруг – словно искры из глаз и возмущенный голос моей любимой безмолвно учительницы: «Витя! Сколько раз тебя спрашивать?!..»

Я-то ведь даже не заплакал: «Чего уж, виноват, отвлекся...» А этот-то...

Школа наша вряд ли была бывшей земской школой, скорее она была чьей-то усадьбой после «распределения» 2 (по Ремизову) башкирских земель. Одноэтажный, в виде буквы «П», крытый железом дом был окружён почти сплошной стеной стриженных в молодости тополей. Затем они росли безнадзорно, и кроны их переплелись в непроходимую зелёную стену.

Вообще-то школа скорее напоминала букву «Ш», но – с укороченной средней «выступалкой» – это был вход.

Огромные часы с боем, резные, на две половинки двери, камин – всё это было непривычно нам, вызывало некий трепет перед школой.

И, конечно, Пётр Яковлевич!..

Потом, когда я читал про шаги командора, у меня всегда возникали в памяти эти его шаги – шаги Петра Яковлевича...

Честно говоря, я уже хорошо подзабыл черты лица Петра Яковлевича, но вот эта поступь... неотвратимость наказания за... (тут и свои все грехи вящие и невящие вспомнишь!), – это мне запомнилось на всю жизнь.

Широко шагая, ничего не говоря, Пётр Яковлевич схватил обидчика за шиворот, и толкнув его в дверь так, что обе высокие резные створки пружинисто ойкнули.

– Где его сумка? – гаркнул следом.

Ему торопливо подали. «Жених» уже выходил из сеней. Пётр Яковлевич кинул ему через открытое окно сумку со словами: «В школу больше не приходи! Служить пойдёшь! Если не загремишь...».

Как в воду глядел директор: «рекруты» наши осенью в Ирныкшах побаловались: пасеку грабнули, сторожа-пасечника покалечили. Деревни враждовали с ещё царских времён, поэтому парней засудили: свидетелей много нашлось. (Ещё бы! Анекдот же от малышейцев. Про ирныкшинских рекрутов. «Иностранцы, – спрашивает вахмистр перед строем, – есть? – Есть! – Откудова, то исть? – А как есть: из Ирныкшей!»)

Вот такая была у нас в Малышовке обстановочка, когда и у нас, и в Красноярске прошёл слух, что пацанов в эту осень не надо стричь: директор школы, мол, Пётр Яковлевич который, в районе достал специальную машинку, которая как хошь стрижёт: хошь под ноль, хошь под Котовского, а хошь – под польку!..

И в самом деле: нас перед школой в тот год овечьими ножницами не обкорнали.



После гимна, рассказов про атомную бомбу (я уже в третьем классе учился, и всё – у Елены Васильевны; я нечаянно увидел её с нашим деревенским гармонистом в нехорошем виде и стал её стесняться и презирать: «Баба тоже, как и все бабы!»), и вот – после линейки нам объявили, что будет стрижка под машинку...

Из всех моих малышовских друзей я был единственным, кто видел танки, самолёты, две недели ехал из Сибири на паровозах... Не говоря уж про радио и электричество (сам я уж умел профессионально выбирать берёзовые чурки для лучины, плести лапти и т.п.). Поэтому неудивительно, что про машинку было столько толков. Мне она и самому показалась загадочной.

Пришёл и мой черёд идти под «машинку».

В маленьком директорском кабинете весь пол был в будто опавшей хвойной пегой подстилке: сивые, рыжие, жёлтые, белёдые, чёрные, клочьями и завитками лежали под ногами пацаньи шевелюры.

– Вот так садись! – приказал мне Пётр Яковлевич, докуривая папиросу. – Воши есть? – и, обхватив лоб скользкими, но шершавыми пальцами, неудобно завернув мне голову, застрекотал машинкой возле уха, больно дернув кожу... Я недовольно попытался крутнуть головой, на что он мне ещё сильнее ответил нажатием...

Он шумно пыхтел, временами матерился: «... Проволока, а не волосы!»! ... А у меня перед глазами были его пальцы, поросшие жёстким чёрным волосом. И я вспомнил: когда-то стриг меня и так же пыхтел мой папка. И я захлюпал носом...

Запах мёрзлого белья

Зима 43-го в Косихе, как и по всей Сибири, была суровой. Той зимой мать не выпускала меня на улицу: не было подходящей одежки и обуви. В январе того года умерла на девяностом году баба Паша. С погребением её была задержка: могилу выкопали не враз. Говорили, что земля – как каменная, как кость. Приходилось терпеливо переносить заточение, дыханием и пальцем вытаивая в заиндевавшем окне глазок, чтоб заглянуть – как там во дворе?

Большую часть времени я проводил, играя с младшей сестрёнкой Ниной. Старшие, Лена и Володя, ходили в школу. Их приход для нас был событием. Вместе с ними в дом облачными клубами вкатывался из сеней вкусный морозный воздух. И сами, и их одежда, портфели, румяные лица, пахли свежо и вкусно, словно сливочным пломбиром. Привозное то мороженое было или местного производства, не помню. Но память о его бесподобном вкусе жива.

Пряжка папкиного командирского ремня со звездой, которым брат опоясывался, замок его портфеля, всё железное, в домашнем духе тотчас индеVELO. И однажды брат жёстко подшутил надо мной: предложил лизнуть замок его портфеля... язык мой, естественно, прилип к замку, и я с ужасом завопил благим матом не столько от боли, сколько от богатого воображения...



Я в то время донимал взрослых всякими вопросами и предположениями. Приставал в первую очередь к матери, и она мне иногда в сердцах бросала: «Да типун те на язык!» Что за «типун», я себе не мог представить. А тут мгновенно сообразил: портфель и есть тот самый «типун»! И я представил себя с эдаким типуном на языке: «Как я жить буду? Есть, пить, разговаривать? Что это будет за жизнь?..» И был так бесконечно счастлив, когда это «типун» отпал, что не полез к брату драться.

Ещё нравилось нам, когда мать заносила с мороза полувысохшее на морозе бельё. Сначала оно пахло крепким морозом, было стеклянно хрустко. По мере того как оно волгло, обмякало, запах его становился мягче, тоньше, но беспокойнее – как у весеннего талого снега.

Однажды (как потом выяснил, в самом начале марта 43-го года), мать, войдя с охалкой мёрзлого белья, бросила его на кровать, уткнулась лицом в него и забилась, запричитала с судорожными всхлипами: «Сиротиночки мы ведь теперь! Как же дальше-то жить будем?! Погиб ведь наш папка! К кому головушку сиротскую прислоним теперича...»

Мы с Нинкой боязливо приблизились к ней – она прижала нас к себе судорожно, и мы завыли втроём.

Оказывается, когда она снимала во дворе бельё, письмоноска вручила ей похоронку на отца. И с этого месяца мы вместо отцовского аттестата получили пенсионную книжку, похожую на небольшой блокнот с контурной красной звездой (480 рублей на четверых детей ежемесячно).

Мне тогда шёл шестой год, и я толком не осознавал тяжести горя пришедшего в нашу семью, понимание его и прочувствование пришло ко мне несколько позже.

С тех пор запах приходящего в себя мёрзлого белья воскрешает в моём внутреннем взоре, стоп-кадром, судорожно всхлипывающую мать и нас, несмышлёнышей, растерянно глядящих на неё. И даже сейчас, когда я уже почти в два раза старше своего отца, всё это видится мне чётко, едва я слышу этот незабываемый запах.

«Н – НЪ - Нга...»

Сыграли свадьбу мы с женою в середине лета. А в сентябре получили мы свою первую в жизни квартиру!

Живём и радуемся! Неделю, другую... Месяц! Хоть вслух и не говорим, но чувствуем: чего-то не хватает!

Пришли на обед как-то. Тихо... Слабенький морозец. Солнышко – не греет, но – светит! Подходим к крыльцу – жена: «Да ты посмотри: что там за чудо сидит?»

А и вправду: на крыльце нашем, возле двери сенной дощаной, сидит огромный, серый с прозеленью моховой, – не от Бабы ли Яги посланец? – сидит

таинственный кот... Может, не столь таинственный, сколь – страшный! А нам – хоть бы что! Переглянулись мы с женой и поняли: его то нам и не хватало!

Пока я вынимал из пробоя застрявшую дужку амбарного замка, навешивавшегося для вида, кот продолжал сидеть отрешённо, по йоговски глядя сквозь нас на серо-шелковистую дверь. И только когда я распахнул её и сам отступил в сторону, сказочный кот встал, потянулся, поднял толстый, как у волка, хвост трубой и соизволил обратить к нам свою усатую толстую морду с округлыми, как у соболя, ушами; янтарно-жёлтые зенки его, с узкими, вертикально-острыми лезвиями зрачков глянули на нас строго, требовательно, даже зло. Выдержав паузу, кот хриплым басом мяукнул... нет, прорычал: «Н-нъ-нга-а?!»

Мы расхохотались, одновременно сделали ручкой в темноту сеней: «Нга!.. Нга...н-нъ-нга!-а! Милый! Только тебя нам для полноты счастья и не хватало!»

Мы – поняли! Мы поняли, что нам не хватало не этого конкретного кота, странного «н-н-ги», а – просто нового объекта, о ком мы могли бы сообща заботиться! Нам было мало заботы друг о друге: мы непроизвольно и естественно испытывали зарождение родительских чувств! Забот! Как всё же предусмотрительна природа! До появления собственного чада было ещё далеко, и мы стали приручать и заботиться о так странно появившемся нашем «брате меньшем»...

Мы предположили, что когда-то он жил здесь: у прежних хозяев. Но соседка опровергла наши домыслы.

Был НГА на удивление здоров и тяжёл! Когда он ночью спрыгивал с припечка, где он имел привычку млеть, казалось, что это – не менее, чем хороший телок!

В полу было отверстие, через которое он проникал в подполье, а оттуда, ведомыми только ему путями, на свет божий.

Клинило ли что-то у него в системе навигации, или выходы были «одностороннего» действия, но возвращался домой он только через дверь.

Сколько ему пришлось высидеть под дверью в жестокие морозы, знает только он один.

Другой раз, на его счастье, чаю или клюквенного морсика переберёшь, посреди ночи в «удобства», которые во дворе, идёшь – а он сидит на крыльце и сипит: «Н-нъ-нха-а !..»

Потрёпанный, отощавший, весь в шрамах и вередах!

Отлучки его бывали, часты и длительны: от недели до двух.

Вернувшись, прежде всего, прыгал он на припёчек – где варежки и носки сушились. Помлев, оживал. Ел всё, что ни дашь: миску супу – так супу, борща – так борща (любил свекольники!), чебаков дашь – одного-двух стопроцентно оприходуёт, после этого кусок мяса и котлету-колбасу – сколь дашь, всё съест – до отвала! А, отвалив, спит сутки – двое! Без просыпу: переносишь, будто парное мясо: сквозь пальцы проседает!

А уж когда отоспится – сама благодарность!

На крыльце только замок снимаешь, слышно: проснулся и очухался «Нга...» Встречает! Мурлычет!



О, мурлыканье Нги! Оно было ему под стать!

Зависело, оно, конечно, от степени его благодарности.

Вы слышали, как тарахтит непрогретый трактор по утрам?

Его мурлыканье иногда было похоже на это тарахтенье.

Вам не приходилось ли случайно бывать на Камчатке и слышать непредсказуемо-клокочущие гейзеры? Если слышали, значит, имеете представление о характере самого нежного мурлыканья Нги.

А ведь при этом он свои тигриные зенки жмурит, подпаленный и драный в драках лоб, словно бульдозер, под ладошку вашу подводит: дружески бодается! И тупые свои, ломаные когти из твёрдых, как у мамонта копыта, так называемых «подушечек» выпускает и нежно-нежно начинает трогать то, на чём сидит. Обычно это называется: «когтит»! В предчувствии подобных «нежностей», я предусмотрительно брал его, ещё не переодевшись: в геологическом костюме.

Признавал он только нас. Гостей не любил. Особенно не выносил – когда обращались с ним, как с кошечкой: сюсюкали, восторгались, гладили... В этом случае он мог фыркнуть, резко прыгнуть, оставляя своими жестокими по-звериному когтями, даже сквозь одежду, болезненные царапины.

Полгода не прожил у нас, несмотря на ласковое с ним обхождение, могучий сибирский кот по имени Нга, но запомнился по сию пору.

Куда делся?

Может, как нас, осчастливил кого своим таинственным явлением?

Пёстрый

В середине августа 1961 года я и двое «хлопцев з Донбассу», с пересадками и ночёвками на «песках», добрались, наконец, до Ярсомовского участка глубокого бурения. Встречало нас всё оставшееся население посёлка: человек пятнадцать мужиков, несколько женщин с детишками на руках и у подолов и стайка ласковых пушистых собак.

Приняли нас радушно: жильё – на выбор, продукты и инвентарь – под запись, спецодежда – на вырост. Определились тут же и с работой: кому – кем и в какую вахту ходить. Не забыли и про досуг: коробка домино, колода карт и несколько книжек без корок. И, самое главное, – вооружили! Продали нам – в долг – ружья со всеми охотничьими припасами и причандалами. А удочки и прочие рыболовные снасти, сказали «колхозные»: на берегу Кривого озера, но червей – каждый сам себе копает, остатки на берегу занюхивает. Мы решили следующим же утречком порыбачить. Сопроводить нас вызвался ближайший сосед.

Каким бесконечным не казался день прибытия, но и он завершился. Медленное, нежаркое солнце зависло над кромкой соснового бора, в котором – нам это врезалось – было зимовье хозяина этих угодий Миши-ханта. Солнце как бы зацепилось в кронах: долгое время оно было неподвижным, лишь меняло цвет,

становясь всё краснее и краснее, – словно наливаясь брусничным соком, потяжелев, быстро закатилось за горизонт. Утомлённые, сытые, мы забрались в спальные и уснули молодым сном...

Петро, наш сосед, по прозвищу Выколотка, поднял нас, сонных, как рыбы, в безбожную рань: в четыре утра.

На Кривое Озеро вела тракторная заросшая дорога. Сосняк начинался почти от крыльца, местами был вырублен, словно выстрижен: неаккуратно, клочьями. Вскоре мы свернули с дороги, и пошли по предболотью по едва заметной тропе, петлявшей меж тёмными, в коростах и мхах, огромными осинами, елями и берёзами. Местами под ногами хлюпала вода, остро пахло болотом.

«Эх! – вздохнул Петро, – застают уже стёжки-дорожки!»

Вышли к озеру. Оно оказалось плавно-лекально-кривым! «Меандра Югана,» – предположил я. На его низких берегах росла осока, округлые кусты ивняка касались воды. Напротив темнела стена ельника. Справа, в лучах восходящего солнца, бронзово плавилась стволы сосен. Рядом, возле коряги, стояла приотпленная долблёнка с нарощенными бортами, в ней – снасти. Мы выбрали, что кому пришлось по душе, Петро дал червей, мы наживили их и...

Ох, какой же это был клёв!

В детстве мне доводилось удачно рыбачить на Зилиме, Белой, Деме, но такого клёва – близко не было! А уж про «хлопцев з Донбасу» говорить не приходится: Павло захлёбывался от восторга.

В самый разгар клёва за спиной раздался громкий собачий лай.

«Шо цэ такэ? – восторженно спросил Павло, – На кого это лайки гавкают?» «Лайки!.. – засмеялся Петро, смешно сморщив длинный нос. – Лаек-то даже у Миши-ханта нету. Это всё – помесь лайки с дворнягой. К тому же старые и глухие. Потому и брошенные: хозяева-то – кто в Усть-Балыке уже, кто в Пиму... Лайки не лайки, а хорошие были собаки! Во! – Петро прислушался, – утробно, низко лает – это Пёстрый, он ещё и слепой. Надёжный был охотник: что на лося, что на медведя. Не заметили? Медвежья шкура, а то и две – у каждого. Во, слушайте, позвонче, с подскулёжем, это – Пальма. Да, хлопцы, тута, под зиму-то, остались, что люди, что собаки, – безответные да турканые... Кто поздоровше да понахрапистей – те уж на новом месте охотятся да мхом обрастают... Ну, покеда! Мне с восьми на вахту».

Петро взял снасти, сложил в лодку, вытащил улов и пошёл домой. И тут мы заметили, что он хромает.

Домовитый Грицко пошёл следом: уху варить. Вытащив из воды наш общий кулан, на котором трепыхались краснопёрые красавцы-окуни, он рассудительно произнёс: «Як разумию, достаточно! Даже на перший раз».

Мы с Павлом решили прокатиться на лодке: убрали снасти, вытащили на берег, опрокинули, вылив воду и спустили на воду; весла не было, гребли руками. Выплыли на середину озера.

Солнце благостно припекало. Озеро – словно круглое зеркало в малахитовой оправе. Берега – один к одному – отражались в нём. Изредка по озёрной



глади, будто кто-то тонким пером или иглой чиркал штрихи и плавные линии... Тишина и покой. Вдруг под бортом: бульк! Вот она, водяная крыса – ондатра! Нам говорили, что её здесь не счесть. Всё же противная: один хвост чего стоит! Но и забавная. Наблюдали за их жизнью, пока лодка чуть не затонула: не успевали консервной банкой отчерпывать.

Снова залиvisto залаяли собаки. Поддавшись охотничьему азарту, крадучись, с мурашками по коже, двинулись мы на их призывный голос.

Возле гигантской сухостойной осины бесновались две собаки, одна – чёрно-белая, крупная, с басистым хриплым голосом, вторая – тёмно-серая с перепелесинкой. Остервенело лая, они кидались на серо-шелковистый комель дерева, когтили его, обнажая белую, бескровную плоть осины. Когда мы подкрались достаточно близко к ним, они, почуя нас, переместились, подставляя тем самым того, кого они «держали», под выстрел... («Чтоб дробь – под перо!»).

Однако, сколь мы ни вглядывались, ни дичи, ни даже белочки не обнаруживали... «По нюху работают! Облаивают запах!» Стало досадно и обидно за собак. Мы пошли домой, собаки следом за нами. С тех пор Пёстрый стал «нашей» собакой. Брицько, наш мажордом, кормил его, а на охоту бегали мы с Пашкой, благо, работали в разных вахтах.

Морда у Пёстрого была чёрной, только кончики ушей (одно было обморожено) белели. Чепрак чёрный, а по бокам, к ляжкам, и по ним, крупные белые клинья; на груди – белый галстук, переходящий в подбрюшье. На бровях, белым по чёрному, таинственный знак, наверняка означающий ум. Ах, если бы не тусклая, словно целлофановая, плёнка на глазах! Жалко было этого могучего ещё и умного пса, которому обоняние заменило всё.

Утолив свой охотничий азарт, в тайгу ходили мы, как в курятник: били дичи только на день. И рыбачили также. В неделю мы потребляли пяток рябчиков, пару косачей, пару-две уток и дюжины две окуней, иногда в Югане блеснили щук. Правда, если Грицко бастовал, приходилось добывать больше – для соседки, за скубление дичи.

В тот год стояла на Большом Югане необыкновенно длинная золотая осень. Даже в октябре, когда ночами изморозь покрывала крыши наших домов, а по утрам на коньках изб удивлённо тарасились прилетевшие на дымок косачи и глухари, садились на балконы вышки – послушать рёв дизелей, днём, особенно в заустенье, солнышко грело ласково, любовно, и набухали на шиповнике бутоны, зацветала вечно-зелёная брусника. А на берёзах почки высовывали свои шлемообразные головки...

В один из таких дней я подался за уткой: на заказ.

На Кривом озере водились местные чирки и нырки, но их добывать было себе дороже: с первого выстрела не возьмёшь! Перелётная утка кормилась на Круглом озере, которое было расположено правее зимовья Миши – ханта; подходы к нему были открытые, приходилось подкрадываться по-пластунски. Я однажды наткнулся на гадюку и больше не ползал: стрелял, как у нас говорили, «с подбега».

Пёстрый никогда не лежал у нас на крыльце и не мог видеть наших сборов на охоту, но только стоило войти в лес, он либо уже ждал на тропе, либо вскоре догонял.

Так случилось и в этот раз, правда, с небольшим опозданием.

Уже меж стволов выпукло, мениском, готовое перелиться, засинело Круглое озеро, и я глазами искал – в какой стороне разводья? Замирал, пытаюсь услышать характерный гомон кормящихся уток, и тут за спиной раздался громкий, захлебывающийся лай Пёстрога...

«Всё! Не видать Грицку уток, придётся идти за косачами!»

Возвращаюсь на перешеек.

Поперёк дороги там старая колода: корневищем в сторону Кривого, обломанной вершиной обращена к Круглому озеру, только что перешагивал через него, а Пестрый облаивает его: загривок дыбом, из пасти пена. Тронул его: пошли, мол, старпёр, ошибочка вышла – не идёт, ещё неистовее мечется. И я рассердился: уток распугал, меня задерживаешь! И как прикладом по колоде стукну: айда, мол, а то брошу, и хоть сто лет тут беснуйся. Как всё получилось – не могу понять! Едва я стукнул по колоде прикладом, из колоды что-то метнулось чёрной молнией. Ружьё моё курковое, словно ковбойский кольт, крутанулось в руке и бабахнуло... В пороховом думу – дымный был порох у нас тогда – увидел я метнувшегося за этим чёрным нечто Пёстрога...

Такое довольство, чувство удовлетворённости было у Пёстрога, когда он положил у моих ног добычу! Нечто похожее довелось мне наблюдать позже, когда герой анекдотов получал очередную «звёздочку»!

Наша «добыча» напомнила мне сказочного кота-баюна: чёрный когтистый зверёк не вызвал во мне хороших чувств и я перекинул его через наклоненный ствол дерева, где повыше, и пошёл с Пёстрым за косачами. Кеша, наш общий друг, которому я вечером поведал об этом случае, сказал, что это – кидус, внебрачное дитя соболя и куницы. И, если тебе не надо, сказал он, то я заберу и выделаю его – на воротник дочурке. Ради Бога, одобрил я его предложение. Тем более, что это – заслуга Пёстрога похоже, я только спугнул кидуса, а изловил его – он.

В самом конце октября погода резво испортилась. Стало не до охоты. Главная забота была – отгрузить оборудование до ледостава. Оборудование отгрузить успели. Людей тоже: последних вывозили диковинными в то время вертолётками, до собак ли было?

Пашка улетал одним из последних. С его слов точно знаю: Пёстрый остался в бывшем, раскатанном по брёвнышку и вывезенном в Усть-Балык, посёлке.

Если Миша-хант пристрелил его, и то хорошо. Хуже – если ушёл он в зиму один: зима была в тот год, хоть и снежная, но лютая.

... Прошло много лет. Многие бывшие владельцы «пёстрых» оказались сейчас в их положении: хорошо поработали на своего Хозяина – Государство, много открыли, разведали, добыли «чёрного золота». Жаль: здоровья нету! Да и тем, у кого ещё осталось, не легче: на месте – кормёжки нету, а в хлебные края податься – не на что...

На лесном пожаре

Лето 64-го года в Сургуте выдалось сухое. Нас то и дело сдёргивали на тушение пожаров. Нас, в смысле холостяков.

В принципе, я был женат, но поскольку жену отправил рожать в Пермь, я считался в прежнем своём сословии – холостяков.

Только вернувшись с очередного таёжного пожара, на тушение которого нас с конторы, в чём были, забросили на вертолёт, и который мы к вечеру героически погасили, а начавшийся ночью дождь наши успехи закрепил и, мало того, шёл ещё пару дней потом...

Короче, только кое-как отмывшись, я пришёл на работу. Меня тут же вызвал к себе заместитель начальника экспедиции по общим вопросам Николай Иванович Чабан и приказал:

– Забирай аэропартию, взрывчатку и с Клепачём, районным пожарным, летите на Чёрную речку – вот сюда, – он развернул секретную пятывёрстку и ткнул в обведённое красным карандашом кольцо: – Там перешеек болотистый между двумя лесными массивами, – и здесь, когда фронт пожара будет приближаться, взрывами собьёте его!

– Николай Иванович! – менторски стал возражать ему я. – Взрывчатку мы не сможем получить, во-первых, т.к. образца вашей подписи на складе базисном нет. Во-вторых, надо разрешение РГТИ на производство взрывных работ. И, в-третьих, у нас у всех есть право руководства взрывными работами только в скважинах, открытыми только у Германа Телятникова.

Николай Иванович, во время войны – начальник разведки кавалерийского полка, смотрел на меня уничтожающе – как на пленного, немецкого, танкиста!

– Тебе решения «тройки» мало?!!

– Во-первых, какой «тройки»? И, во-вторых, где оно, где оно – решение?..

Он готов был разорвать меня.

– Ты в какой стране живёшь?!! Ты советской власти не хочешь подчиниться?!!

Красив Николай Иванович был в гневе! Густые, без единой сединки волосы его разметались книжным развалом, короткие брови домиком встали над разящими ястребиными глазами, мужественные складки пересекли зарозовевшие щёки... Волевой подбородок, рот... Ей-богу, я струхнул: шашку ему в руку и – ничего не останется от моего незаматеревшего тела, от беспородного облика и ищущей равновесия души...

– Вот! – он распахнул картонную папочку и швырнул мне в лицо пару листов. – Вот: решение «тройки»!

Я бегло взглянул на недружественно поданные бумаги: секретарь райкома, предрика, начальник милиции... Чрезвычайная комиссия... Подписи, печати...

– Это другое дело! – сказал я. – Но мне нужен официальный приказ! Без приказа я не полечу! Спешка кончится, а потом я – расхлёбывай перед «органами»?!

Слово «органы» на Николая Ивановича подействовали: он обмяк, стал обычным.

– Короче. Вот тебе полномочия. Делай, как надо. Главное – чтоб дело сделать, не допустить огонь к первой, можно сказать, в районе буровой. Так меня на «тройке» озадачили, понял? Чё надо – говори, подключусь. И – по коням!

Мне надо было Германа Телятникова, прораба буровзрывных работ: хоть беглый, предварительный, но проект взрывных работ с предварительными расчётами надо было составить и утвердить до отлёта. И ещё: Женю Кашепаву, и.о. начальника аэросейсмической партии. Вернее, взрывников его партии, техническое оснащение: взрывчатка, катушки с боевой магистралью, взрывмашинки и прочее.

С обоими у меня были своеобразные отношения.

У Германа за плечами был техникум и несколько лет «суровой» полевой работы (в это время я учился в институте).

«Нас по вертолётам разбросали, сунули авансы в зубы нам, доброго пути не пожелали и отправили – ко всем чертям!»

Он чуть «эр» не выговаривал, был длинен, как бамбуковый отросток, близорук, с удлинённым, почти лошадиного типа, лицом и добрейшими бирюзовыми глазами, без очков – совсем незащитными... Имел цепкую память, старался прослыть героем. Я уже знал, как с ним обращаться, и, когда надо было, давал ему возможность почувствовать свою значительность. Я понимал неэтичность своего поведения в отношении его, но других способов управлять им я тогда не знал...

Когда он появился, в его распоряжении была машинистка и всё оформбюро... Герман диктовал, объяснял чертёжникам, копировальщикам, составлявшим графическую часть проекта... Был на «высоте»!

С Женей Кашепавой я ещё недавно жил в одной комнате. Женя – бакинский еврей. Его мечтой было – накопить денег на кооперативную квартиру и вызволить мать из полуподвальной квартиры, – что, в общем, он, ведя, в противоположность нам с Валеркой Ртвеладзе, третьим нашим соседом, экономный образ жизни, уже и сделал: хвастался, упрекая нас в транжирстве. Второй сокровенной мечтой его было стать начальником сейсмопартии... «Как только появится запись в трудовой книжке, что «имярек назначен начальником сейсмопартии...», тотчас же возвращаюсь в Баку... В какой-нибудь НИИ устроюсь, женюсь...»

И вот с этим Женей Кашепавой я стал подбирать бригаду взрывников... «Женя! Есть возможность отметиться!» – шутил я.

Хоть тогда и спокойные были времена, но контроль за использованием взрывчатки был жёстким и продуманным. «Списать» взрывчатку, которая на самом деле живёхонька, было трудно. Это при обычной технологии. Без вмешательства «тройки». А тут, в спешке, некоторые могут и попытаться «списать» пару-тройку шашек тротила...

Настоящий начальник аэросейсмопартии был в это время в отпуске. Женя у него работал старшим инженером-интерпретатором. Народу у них было не-

сколько десятков. Я полагал, что Женя всех их знает поимённо. Но он вытащил записную книжку, стал листать и каждому, о ком я спрашивал, давал необходимую характеристику.

Многих из взрывников я знал либо по работе, либо по курсам двухгодичной давности, которые вёл. Но межсезонье: тот – в отпуске, тот – учится... Кого-то я сам не хотел брать. Осталось ещё одного найти...

– Женя, а вот... Как его? Сивый такой... Здоровый лоб! Как раз бы подошёл: ящики-то 25 кэгэ, по мшаникам потаскай-ка... Петров! Пётр Петрович?.. Помнишь?

– Из бывших зэков, что ли? Как не помнить! – Женя мелконько баритонисто засмеялся. – Он при мне устраивался... Только устроился, спрашивает: «А у вас курсы по изучению истории нашей любимой коммунистической партии есть? Запишите меня!» А сам в тот же день полученную спецодежду и аванс пропил...

– Так здесь он?

– Здесь.

– «Спецодежда» у него сейчас есть? Ну и давай его!

...Не помню, кто взял с собой фотоаппарат, но у меня сохранилась фотокарточка, бледная, сменовская, недозакреплённая..

На переднем плане старший лейтенант Клепач, в форме, с накомарником поверх фуражки, на плащпалатке полулёжа, что-то вертит в руках. Чуть в стороне – несколько ящиков с тротилом (если память не изменяет, по 25,2 кг в каждом). Вторым планом – согровая тайга в дыму и смутные силуэты людей, это – Петры Петровичи...

Кроме этой фотографии у меня хранится записка Николая Ивановича Чабана, сброшенная с вертолёта вместе с продуктами.

«Товарищи взрывники! Спасибо за работу! Скоро вас вывезем!»

Остальные документы мне пришлось сдать с отчётом об израсходовании ВМ (взрывчатых материалов).

...А осенью, как обычно, начался у нас учебный год политпросвета...

Мартын

Однажды на каникулы дочь приехала с красивым котёнком тигровой масти. А обратно не взяла. Так и остался он у нас. Назван он был Мартиком в честь месяца своего рождения – марта. Для моих женщин он был Мартиком, а для меня – Мартыном.

Был он весёлый, отзывчивый на ласку, «законопослушный»: ходил в отведённое ему место. А, наигравшись и наевшись, тархтел громче будильника. Однако, мирная жизнь шла до поры до времени.

Как-то жена купила крупного муксуна, замалосолила и, завернув в кальку, для просола, оставила в тепле: в кухне на подоконнике. Вечер прошёл как

обычно: с Мартиком – для снятия стресса, – поиграли. Да и как было с ним не поиграть: цеплялся за тапок, за руку – в жестикуляции. На сон грядущий – покормили его.

Утром, встав чуть раньше обычного, – до гимна, – побрившись, я зашёл на кухню: чай поставить.

Мартик спал и на кухне: у него там был старый стул, мягкое сиденье которого было обтянуто, для тепла, старой шерстяной кофтой. Это было, как мы говорили, его запасное логово; обычно он спал в кресле у нас.

Что походка, что прыжки Мартика были легки, воздушны, беззвучны. При моём появлении на кухне его прыжок на этот раз был тяжёл: будто не котёнок прыгнул, а телёнок!

Звук прыжка привлёк моё внимание к Мартику: бока у него были раздуты, как у телка, обожравшегося клевером, такое в детстве мне приходилось видеть. Тогда, чтоб скотина не стинула, звали ветеринара или, по-деревенски, коновала. Коновал, потребовав горячей воды и огня, проводил нехитрые манипуляции, главной из которых было – «пробдение»! (Я до сих пор, когда слышу свисто-шип воздуха на буровой, где – сплошь пневмо-муфты и всё – на «воздухе», невольно вспоминаю эту деревенскую картину.

Я поймал сонливого Мартика под столом.

«Ого! «Газы» столько весить не должны!» – подумал я.

Так и оказалось: вся спинка муксуна – что там калька! – была выжрана!

Жену, услышавшую наше «объяснение», я урезонил: нечего было кота вводить в соблазн!

«Дуров», конечно, из меня не вышел!

Заставши однажды кота за «неправомерными» действиями, я наказал его веником. Понятия о законности и морали, как он посчитал, у нас с ним – разные! И начал Мартик – с этих времен, для меня, Мвртын! – жить по своим... законам.

Понятно, что он посчитал меня агрессором... может, более того, оккупантом! И стал вести против меня партизанские действия...

Было бабье лето... Я знал одно заветное местечко – где весь сезон водились красноголовки. И, главное, рядом! В пределах маршрутного автобуса. В незаметной колке.

На работу я часто ходил в «геологическом» костюме: иногда прямо с планёрки приходилось лететь на «горящую» буровую. А в этот раз – «вырядился»! Пришлось бежать домой – переодеваться.

Джинсы, куртку, кеды – студенческой рысью к автостанции. Успел! Автобус переполнен. Крутили-вертели меня несколько остановок: за город выехали, уже спокойнее. Протиснулся в более-менее свободное пространство между креслами. Стою. В окно посматриваю, пригнувшись: где едем? Совсем освоился и расслабился: на сидящих соседей взглянул...

Смотрю: с этой стороны вроде бы принимают... Повернулся: и эти ногами позашмыгивали...



Естественно, у меня сразу «подозрение буларга киряк», – присловие у меня такое, когда что-то – подозрительное.

Со стыдливой тревогой я руку в задний карман джинсов, за платком, – пот меня прошиб, когда я это самое «подозрение буларга киряк»-то почувствовал, полез это я за носовым платком в карман джинсов, чтобы пот вытереть, а платок-то... мокрющий! И карман! И трусы, почувствовал, на этой, где карман, ягодице – мокрые! И так, не вынимая руку из заднего кармана, стал пробираться я к выходу – чтобы дёрнуть сигнал аварийного выхода.

«Ну, Мартик... Ну и зараза же ты... Гад ты, Мартик! За что позоришь?»

Единственное утешение было: грибов хорошо набрал! Но обидно было: джинсы ведь не валялись: аккуратно лежали на прикроватной тумбочке. Наказывать его не стал. Впрочем, он мне и на глаза не показывался. «Чует кошка, чьё мясо съела!» – мелькнуло у меня в предсонье...

После этого мы достаточно долго жили в мире и благодати. Где-то около года, верно. Были у нас с ним повседневные «моменты», не более.

А в жарком июле мы оказались на некоторое время вдвоём...

Жена, уезжавшая по родственной надобности, наказывала: если, мол, буду улетать на буровую, то должен поручить Мартына соседским заботам.

Так и было раза два-три. А тут просят: на одни сутки слетать. Ну, думаю, одни-то сутки и Мартын перетопчется! Положил ему хорошего подъязка, воды в достатке, на всякий случай, колбасы сухой кавалерийской... Как, Мартын, мол, сдюжишь? Нажрался, согласительно муркает.

Вместо суток-то – трое не был я дома! Не по своей охоте: разнепогодилось. Приезжаю: ещё с лестничной площадки чую вой тигриный и... запах зверинцевый из своей квартиры...

Что тут было – вспоминать не хочется!

И я виноват, но и он тоже – мог бы быть поаккуратнее!

Сделал я уборку, накормил его как следует, вычесал, спать даже позволил рядом с собой... И так сладко я сыпанул, что чуть не опоздал на утреннюю семи-часовую планёрку.

Бегу это... А сам вопросы свои служебные оттачиваю: чтоб на планерке решить их в первую очередь... Ну, и о жизни рассуждаю... Знаете ли, как сейчас пишут, идёт этакий «поток сознания»... И вклинилась в этот «поток» струйка этакая хозяйственная... Жена давно говорила: подбей, мои подмётки у этих туфель, сам коли разучился, отдай: подобьют! Подошва-то кожаная: истончилась, того гляди, туфли каши запросят... Куда деваться? Конечно, из-за её советов не раз влипал, но тут-то, как и во многих случаях, она права... Смотри: дыра верно уже, хлопает в правом туфле! Починить... надо... или... выкинуть!

«Фу! Слава Богу, успел!»

Я сел на свое «разнарядочное» место и включился продуманно в работу... Когда перешли к делам других служб, я чуть расслабился: стал оборачиваться

вправо, влево. И вдруг вывел закономерность: как только я закидывал свою правую ногу на левое колено, сосед мой, что слева, начинал, как добрый спаниель, явно неосознанно, поводить носом. Стоило мне выпрямить ноги, или чуть подогнуть правую под себя и в сторону, как то же самое начинал делать сосед, сидевший справа... И тут до меня дошло: в окнах-то небо голубело! Какие тут дошвы...

Повеселив разрядку, я побежал переобуваться.

Кота нигде не было!

Как я позже догадался, он заранее предусмотрел для себя "запасной" аэродром: стал прятаться за батарею, где я его не мог достать ни веником, ни рукой...

За исключениям подобных эпизодов, жили мы с ним мирно. И он, и я любили такое занятие.

Я брал его «под мышки», то мордой к себе, то от себя, и качал его как на качелях... Он потягивался («релаксировал», говорила старшая дочь если ей случалось видеть наши упражнения), мурлыкал почти хрюкая, и каким-то шестым чувством определял, когда я выпущу его, – а делал я это непредсказуемо, как мне казалось, – и он всегда делал ловкий кульбит и приземлялся достаточно мягко на «все четыре»!

Прожил Мартын до восьми лет. Жил бы возможно и дольше, но случилась перестройка: исчезли или стали не по карману продукты, к которым Мартын привык (свежий минтай или язь, килька в томатном соусе, зелёный горошек, фасоль в томате и прочие непрезентабельные яства его). А может, железистая вода, которую так и не научились очищать, доконала: в последние часы своей жизни Мартын часто ходил на тазик; чувствовалось, что он очень мучается, но он не стонал, как и подобает представителю «мужескаго» пола. Так, без звука, он испустил дух, сохранив, однако, выражение муки в тигровых загадочных глазах.

Закопали его мы на берегу Мегионской Оби в берёзовых посадках: среди берёз – его ровесниц.

Белочка с пригревочка

Стоял август. Белые ночи потемнели, – так светлоголовая в детстве белобрыска начинает русеть в девичестве, а к бабьему лету, глядишь, стала тёмно-русой. Так и августовские ночи: темным-темны. Коротки они, не более трети суток, но словно тёмные холодные воды разлива, ежедневно, неумолимо подтапливают светлый берег дня. Вот и сегодня новые минут пять-семь дня ушли в сумерки.

Было пять часов новых суток. Рассвет брезжил давно и предвещал ясный денёк: заря разливалась красно-золотистыми потоками.

Я закончил свои дела на буровой и размышлял: идти спать или пробежаться вокруг в поисках грибков? Решил: по грибы! Вокруг были светлые чистые сосня-

ки, матёрые и молодые. Я взял, вместо корзины, накомарник, и пошёл от солнца: почти горизонтальные лучи его не били в глаза; влажные шляпки маслят, моховичков, красноголовиков, сибирских груздей золотисто посверкивали и были сказочно живописны на фоне ягельника и хвои.

Воздух был прохладен и смолист. Я не испытывал ни чувства голода, ни желания покурить. Ни одной какой-то определённой мысли не циркулировало в моей голове. Может быть, только бессловесные образы. Я был язычником. Первобытным человеком. Частью природы, понимающей её душу, как свою, всеми органами чувств, известными и неизвестными. Меня переполняло чувство благодарности к окружающему миру, солнцу – за его свет и тепло, игру лучей, натянутых, казалось, между соснами, словно парчовая основа в кроснах. Сосны я благодарил за озон и тень, за зелень, радующую глаз. Мхи – за ковровую мягкость при ходьбе и за то, что они сохраняют влагу и укрывают грибы и бруснику. Грибы – за то, что они выросли, показались мне на глаза, доставили радость находки... Кому-то Высшему, смутно осознаваемому, – за то, что есть всё, что есть я, что я живу, хожу в этом чудесном лесу...

Часа через три накомарник стало тяжело таскать. Я ставил его где-нибудь на полянке и ходил вокруг по спирали, собирая грибы в капюшон куртки. Солнце уже высоко поднялось, хорошо пригревало. Роса испарилась, и ягельник был достаточно сухим, но не хрупким. Иногда я отдыхал: ложился на спину и, раскинув руки и ноги, смотрел в купоросно-синее, без единого облачка, высокое небо.

Строчил я медленно, казалось, вырезал грибы подчистую, но, возвращаясь по своим следам, находил ещё и ещё. И даже рядом с накомарником: там-то многажды ходил!

Вышел к сухому предболотью. Хорошо приметив место, где оставил «корзинку», пробежался налегке по болотистым удольям и взлобкам: Одни обабки, да и те – переростки. Всё же полон капюшон, иду с бережью, прогалинку свою ищу. Тормознусь, головой поверчу: здесь ай нет? И дальше. Солнце чуть справа бьёт: правильно иду! Леший, что ли, кружит? Жалко будет, коль не найду: ведра два в комарнике, не менее. Стою. Ориентируюсь.

Вдруг белочка привлекла внимание: с ветки на ветку попрыгала и на землю... Слежу за ней, из-за сосёнки выглядываю. Белочка по земле прыг-прыг... Глянул в направлении её движения и... увидел свои грибы! «Ах, ты белочка-с-пригревочка! Пока я шлындаю по лесу, грибы ищу, ты их у меня потаймя берёшь? Как оброк? Ну, тащи, тащи... Опрастывай место – капюшон надо освободить».

Белочка повозилась у накомарника (москитную сетку грызет?) и неторопко попрыгала обратно, придерживая грибок передними лапками. Замерла у сосны, поозиралась, блестя глазками-бусинками, и скрылась в хвое. С полминуты её не было. Появилась она неожиданно, с противоположной стороны. Белочка была некрупная, нежно-рыжая, с сероватым дымчатым оттенком, но – аккуратненькая, изящная. Она присаживалась на ягель, наклонившись, раздвигала передними лапками мох и проверяла качество гриба; пушистый хвост её, похожий на



остистый янтарно-красный колосок, то изгибался вдоль спины, то плавно отходил от неё. Забраковав один, другой гриб, зигзагами она вновь приблизилась к моим, скрылась за ними; только по вздрагивающей кисточке хвоста можно было догадаться, что она не сидит неподвижно, а копошится. Вот она появилась с грибком ("Сыроежка или волнушка? Волнушек у меня не должно быть,") и вспрыгнула наверх по стволу. А вновь на прогалину спустилась с соседней сосны: как перемещалась она внутри хвойных оподолей, мне не было видно.

Ещё несколько раз белочка появлялась в моём поле зрения. Иногда она замирала столбиком, совсем по-сусличьи, неожиданно громко цокала.

Воздух был недвижим. Я затаивал дыхание: меня она как-то чувствовала или её настораживало присутствие кого-то другого невидимого?

От долгого стояния у меня, как у мавзолеевского часового, затекли ноги, и я, забывшись, переступил, как мне казалось, неслышно. Но этого было достаточно, чтобы белка в один прыжок, распутив хвост, скрылась в кроне...

Грибы мои были целы. И я обиделся на белочку: «Что ж ты, дорогуша, моими-то погребовала, привередничаешь?» Да не на шутку обиделся! Так, что когда одумался, смешно стало: «Это люди, как говорил Витя Петров, «не свое, а берут!» Зверьё – своим трудом живёт».

Пестуны

– Смотри, смотри, Николаич! – затормошил меня водитель. – Ей-бо, медвежьи следы!

И остановил машину.

Мы ехали на головном бензовозе, и вся колонна остановилась.

– Что случилось, шеф? – заглянул в кабину начальник БПО Валерий Агапов, вопросительно вскинув чёрные густые брови и озабоченно сверля меня лихими светлыми глазами.

Незадолго до этого, мотаясь по буровым в болотниках, я застудил ноги, и меня страшно мучил гайморит.

Дорога по лесу была более-менее сносной, я, было, задремал, и – на тебе! – из-за каких-то медвежьих следов разбудили.

– Да вот, – показываю на рыжевато-голубого водителя, – Федя, оказывается, юным натуралистом был: медвежьими следами интересуется.

А сам, поддерживая голову, выбираюсь на волю.

По времени – глухая ночь. Но сухая, вроде манки, снежная крупа, выкристаллизовываясь из воздуха, создавала видимость предрассветной брезги. Крупа припорошила деревья, просевшие обочья зимника и сам зимник, кое-где взрытый до ягельника или торфа, а больше залитый полой водой: за ночь колеи заледенели и вкусно, словно комковым сахаром, похрустывали под протекторами колёс.

В ночь на Первомай у нас сторела буровая. Инструмент упал на забой. Для

восстановления буровой и добуривания скважины нужно в первую очередь горючее. И хотя переправу через Вах мы уже закрыли, пришлось не без риска порожние «Уралы» перегонять, а заливать их более лёгкими ЗИЛками. Водители и сопровождающие ещё до выезда намаялись, и сейчас, после шести часов нелёгкой езды, были рады размяться.

Все собрались перед нашей машиной и в свете фар изучали следы.

– Свежайшие следы! И давно впереди нас топают.

– Двое! У одного сорок шестой размер, у другого поменьше: сорок первый...

– Пестуны! Старшему – третий год, младшему – второй!

– А где ж мамка?

– Так с нонешним, верно... А их выгнала!

– В люди?

– Навроде того. Ну!

Побазарили на этот счет, кофейку из термосов хлебнули, кто и пожевал – и в путь, – пока погода работает на нас!

На одном из поворотов вскоре фары высветили идиллическую картину: словно братишки, идущие в садик, остановились медвежата: плечо в плечо стоят, словно при переходе улицы транспорт пропускают!

Кто-то не удержался, засигналил...

Пестуны подхватились и, смешно подкидывая бесхвостые зады, скрылись за таёжным буреломом.

Пошли «гнилые» места. Колонна наша, в сцепке, двигалась медленно, многотрудно... И всё же к рассвету ближе, преодолев «помойки», (так на шофёрском жаргоне зовут зыбистые даже в лежнёвке места), въехали мы в гривастый бор, где зимник был сносным. И тут снова увидели следы пестунов... На этот раз отпечатки были очень чёткими и тёмными. Федя снова остановился. Вышел и я.

По размерам следы были прежними, но почему такие чёрные?

– Будто им лапы дактилоскописты смазали!

– Да, хоть сейчас на экспертизу: отпечатки – что надо!

– Это они, видно муравейник нашли и разорили: любят мурашей!

– Пробки после спячки, видать, стрельнули: питаться стали.

– Да вон недалеко и муравейник!

На этот раз пестуны нас поджидать не стали: свернули в сторону загодя. И больше нам не встречались: видимо, вышли на клюквенное болото или шиповник нашли.

Нам ещё оставалось километров двадцать пути, когда солнце жарко задышало, наст стал рушиться. Машины то резали верховой зимник, то съезжали с его горбатого позвонка, буквально ложась на талый, прессующийся снег. Но, благодаря сцепке, мы к обеду добрались до буровой.

На буровой территорию перемесили АТСы своими гусеницами, и на подъездах, и вокруг было много сверкающих на солнце луж: в них то и дело садились пролётные утки и весело брызгались, не пугаясь техники и людей. Во избежание



ЧП мне пришлось у рьяных охотников забрать до поры ружья. Но некоторые уже успели отвести душу, и вечером была похлёбка с утятинной.

За десять дней мы восстановили буровую, установили цементный мост для зарезки нового моста.

Всё это время была плюсовая температура, и благостно припекало солнце. Но накануне нашего вылета с буровой ударил мороз более двадцати градусов и вновь заковал все водоемы, включая налившиеся талой водой болота, в ледовую броню, вполне державшую порожние машины.

– Каково-то сейчас тем уткам? – сочувственно сказал кто-то.

– А боровой дичи? Она-то в снегу ночует: что если так и погибнет под ледяной коркой?

Когда пролетали над теми гривками, где нам повстречались пестуны, я вспомнил их и посочувствовал им: пожалел!

... А кто бы меня пожалел: после той поездки гайморит перешёл в хроническую форму, и избавился я от него только месяца через два.

Грэй

Наш ладный бревенчатый дом строился на два хозяина. Предполагалось изначально, что они будут жить в ладу и миру. Поэтому обнесённый штакетником двор был общий: на одной половине – спаренный дровяник, на другой – туалет, в ограде – две калитки, от калиток к каждому крыльцу и к местам общего пользования проложены аккуратные деревянные тротуары. Строительство вела бригада шабашников из Закарпатья. Брёвнышко к брёвнышку, досочка к досочке – прифуговано, подогнано! Даже тротуары выстланы струганным материалом! Работа справлена мастерски, ничего не скажешь!

Сосед мой зиму жил один и только по теплу, в мае, решил привезти семью.

После нескольких дней отсутствия, уставший механически как-то, словно старый конь с пахоты, шёл я домой с вертолётки. Бездумно, так же автоматически, открыл я калитку со своей стороны, и тут очнулся... Из-за угла, с нашей стороны, с громоподобным рыком, надвигалась на меня... собака Баскервилей, не иначе! Прыжок – упруго сыграли доски тротуара, еще прыжок – другой и... я буду опрокинут тяжеловесным монстром...

К счастью, тотчас появилась хозяйка собаки... Уж не помню, что она сказала псу, но он мгновенно успокоился и доверчиво, без внутреннего протеста и напряжения, позволил потрепать себя по мощному загривку, почесать за ушами. И пока соседка извинялась, потом представлялась и рассказывала о родословной своего «мальчика», мы с ним вполне подружились.

Грэй, так звали «мальчика», по собачьим меркам молодой, прибыл сюда по взрослому билету: в холке был с хорошего телка и весил 68 кэгэ!

В спокойной обстановке он показался мне красавцем: мощный и в то же вре-

мя поджарый; у него были умные, без красноты, тёмные глаза, сторожкие уши; голова, загривок, чепрак – чёрные, могучая грудь – тёмно-серая, такого же окраса и бока, но с подпалинами, светлеющими к животу; хвост – тёмный, пушистый, плавно приопущенный.

«Теперь можете быть спокойными! – соседка потрепала «мальчика» по загривку. – Грэй взял двор под охрану: будет дозором обходить!»

«Да мы вообще-то и не закрываемся: замок вешаем так, для вида... – сказал я. – Но раз взялся, пусть дозорит! Косточкой угощу!»

На новоселье сосед расхвастался: родословная у Грэя – благороднейшая! Это годится для городской квартиры, возразил я из духа противоречия... А вот поживёт, говорю, он вольной жизнью в посёлке, будет с поселковыми собаками шастать по помойкам и тайге, обзаведется блохами, закрутит с какой-нибудь Пальмой или Жучкой любовь... Сосед завёлся: никогда, говорит, со двора не выйдет, скажу, даже у вас из рук ничего не возьмёт, не то что с помойки! Ну-ну, говорю, поживём – увидим... На следующий день, позабыв, кстати, совершенно о споре с соседом, я вынес Грэю «мосолок»: берцовую кость лося с остатками мяса и сухожилий, полагая, что он – обгложет её. К моему ужасу, Грэй, словно куриную косточку, разгрыз её. А тут, как на грех, соседка появилась. Заметив моё смущение, она рассмеялась: «Ничего страшного: пусть клыки поточит. А вот куриные косточки не давайте. – И пояснила: – Они острые, желудок могут поранить».

Разместили соседи Грэя в сенцах, в летней кладовке: тонкая переборка вздрагивала, когда он облаивал непонравившегося ему гостя.

Я заметил, что поток посетителей в нерабочее время убавился, стали чаще звонить по телефону. А вот дети, после того, как соседи привезли младшего сынишку, повадились ходить к нам во двор: Грэй позволял им делать с собой что угодно!

Невлюбил Грэй зама по общим вопросам, сиповатого, суетливого мужичка, и грузного начальника хозцеха. В своём дровянике сосед пропилил лаз для Грэя и устроил ему там дневное лежбище, вроде дачи. И незадачливые посетители иногда попадали впросак: дневавший в сарае Грэй загонял их в снег и держал до прихода хозяев или кого-либо из нас. Уж как его хозяйева не стыдили, как не наказывали, пересилить себя пёс не мог: чем-то, видать, насолили они ему!

На следующее лето из-за них чуть не пострадал я...

Я был в туалете, когда к соседу пришёл, видимо, предварительно позвонив, особенно нелюбимый Грэем начальник хозцеха: овчарку закрыли в кладовку, и пока шеё разговор, Грэй сотрясал лаем двор. Потом за гостем закрыли калитку и выпустили Грэя... И надо же было в этот момент мне выйти из туалета! Угораздило же!

Ослеплённый яростью, в два прыжка Грэй был возле меня... Ещё мгновение – и моя левая рука уже в его горячей пасти...

Что с нею будет, я не подумал: лосиная, мамонтовых размеров, берцовая кость была перед глазами...

Хозяйка не успела испустить истошного вопля как Грэй понял свою ошибку:

затормозившись, чуть проехав юзом по тротуару, он разжал пасть, запрокинул голову... Опустив голову, с виноватым взвояем, виляя хвостом, закружил вокруг...

Побледневшая соседка – стала массировать мою руку, на которой остались лилово-красные отпечатки клыков. «Ну, слава Богу», – вздохнули оба.

В феврале я прихворнул и, выздоравливая, впервые за зиму встал на лыжи. Снегу в тот год было много, со двора я выехал по сугробу, под которым штакетника и не видно было.

Шёл я тихо, словно наощупь: в заустенье снег бывал рыхлым, можно и провалиться. Начиналась «весна света»: снежные бугры и трамплинники взором не заметишь, особенно на склонах, в затенении, и только когда центростремительная сила подкинет – поймёшь, что неровность проехал. На этот раз, съезжая по крутому берегу Максимки, в неожиданном полёте меня ещё и подсекло нечто тёмное, стремительное, мохнатое, тяжёлое... Конечно, это был Грэй!

«Есть у Грэя такой грех: кутёнком ещё привык! Беда! Все лыжи погрыз. Забыл вас предупредить: не может спокойно видеть движущихся носков лыж!» – смеясь, оправдывался сосед.

«Лыжи – ладно: – подначил я соседа, – А вот как на счёт команды «охранять»? Видать, был у него всё же в предках кто-то из дворняг!»

Сосед немного смутился: «Команда давно не подтверждалась! Да и ограды фактически нету. Некорректной стала задача! – засмеялся. – Завтра всё будет тип-топ!»

На следующий день я покатался с горки, полетал с трамплинчика. Натешившись, пошёл по реке и свернул в лес, с намерением проложить круговую лыжню километров на пять для тренировки, разметкой.

Пикете на шестом я заметил пробиравшегося ко мне Грэя...

Лыжня не держала его. Казалось, он плыл по рассыпчатому снегу: порой только хвост и уши виднелись!

Представив, какие муки пришлось ему перенести из-за своей страсти к шуршащим, похожим надвигающимся ушам, загнутым концам лыж, я развернулся и «наострил» лыжи к нему: пусть потешится! Но ему было не до игры: весь в мыле, язык на плече, бока, как меха, так и ходят... взгляд виноватый: в сторону.

Я потрепал его по загривку, дал карамельку. Отдохнув, мы двинулись домой. По пропаханной траншее ему было идти легче. Я шёл рядом, по новой лыжне.

На реке я пошёл быстрее да и Грэй очухался: стал игриво обгонять меня, пытаюсь куснуть за кончики лыж.

«Что за притягательная сила в них? Для собаки послушаться хозяина – не легкое дело! А ведь послушался!»

Перед подъемом в гору я приказал ему: «Домой! Охранять!»

Прошла секунда-другая – до Грэя дошло: что он наделал! Он, казалось, с мольбой взглянул на меня и намётом понёсся вверх по склону – домой.

Соседи пришли чуть пораньше меня. Грэй встретил их радостно: как обычно. Потом подошёл ко мне осторожно. Я ему подмигнул заговорщически: всё, мол, тип-топ, молчу! Он – как будто поняв меня, вернулся к хозяевам и стал весело

ластиться, оглашая глухие февральские сумерки радостным рыком. Пора была предмартовская, и сумерки становились голубоватыми и медленными.

Летом соседи уехали. Вспоминали мы их изредка. И, если честно, сначала Грэй, потом уж и их, хороших людей и добрых соседей, вообще-то.

И те времена, когда дверные шлерки запирали на палочки или замки для близиру, а Грэй убегал на лыжню – поиграть. Сегодня день-деньской сидел бы он за железными дверями, а гулять выходил бы только с хозяином, иначе – уведут, тем более – такого красавца!

Совсем люди запутались в родословных: не в собачьих – там более менее порядок, – в своих. Раньше искали подтверждение пролетарского происхождения и революционного прошлого, сейчас – наоборот. А в результате берут от враждовавших некогда сословий самое худшее.

Русик и Мявка

Однажды прилетел я с буровой мрачным, раздражённым. Углублённый в свои мысли, шёл я мимо детсада. Размышления мои прервал дробный – по деревянному тротуару – топоток и следом радостный визг: младшая дочь бежала мне навстречу. Оранжево-коричневое в клетку пальтишко нараспашку, капюшон сбился, косички наружу. Глазки лукаво поблескивают, на румяных тугих щёчках ямочки прыгают.

Я забыл про неурядицы, подхватил её, поцеловал. Но она тут же вьюном выскользнула из рук и запрыгала, затараторила: «А-у-нас-что-то-есть!.. А-у-нас-кто-то-есть!.. Русик-и-Мявка!.. Русик-пёсик! Кошечка-Мявка!.. Вот!» – и перевела дыхание.

И точно! Серый, с подпалиной, кутёнок. Руслан. Русик. Дымчато-белый котёнок. Мявка. Кошечка. Вроде делов-то! А радости – целый короб.

Было предзимье. Для Русика я соорудил утеплённую, «на вырост», конуру. Да куда – не позволили: замёрзнет, мол. И всю зиму спал он в коридоре на коврике. Мявка спала в кресле. Но зачастую они ели вместе и спали в обнимку. Остальное время играли, носились по комнатам. Даже мне занятно было наблюдать за ними, а уж дети и подавно были в восторге от «шкод» и трюков весёлых друзей.

Вот говорят: живут как кошка с собакой. «Люdiam бы жить так, как Русик с Мявкой!» – говорила мне жена, глядя на резвящихся животных.

К весне они заметно выросли. Русик превратился в красивого пушистого барбосика с чуткими острыми ушами, задорным пружинистым хвостом, умными золотистыми глазами и басовитым, звонким лаем, а Мявка – в игривую нежную кошечку, дымчато-белую, словно фарфоровую.

В мае Русик стал подолгу отлучаться со двора: играл и носился по посёлку со своей роднёй, нахватал блохи, когда прибежал домой пожрать и поспать, нещадно чесался и яростно, с подвыванием, шарился в пушистой шубе и клацал



зубами. Пришлось перевести его в сени, конуру он упорно игнорировал.

Дети решили избавиться от блох: замотали морду, обрызгали аэрозолем, завернули в целлофан, спеленали и держали так некоторое время, несмотря на его скулеж и трепыханье, а потом ещё и «выстирали» с моющим порошком.

Когда вечером я пришёл домой, то увидел, как мне показалось, шкуру Русика, разостланную на коврик: морда прямо, лапы – симметрично в стороны, продолжением тёмной спинной полосы – хвост.

Узнав о его «санобработке», я уверенно сказал: «Отравился!»

Дочери расстроились, побежали проведать его. «Вроде дышит...Только тихо...» – говорят расстроено.

Почти сутки дрых «отравленный» Русик, блаженно растянувшись. Подружка его, Мявка, и за уши его покусывала, и мягкой лапкой по чёрной носопырке поколачивала – не реагировал её друг, лежал как убитый.

Наступил июнь. Посёлок преобразился: грязь подсохла, проклюнулась травка, в палисадниках и в дальних чащобах словно зеленоватый туман осел и с каждым днём стал густеть, в изумруды превращаться. Тут и черемуха зацвела, рябина... Из тайги багульником запахло. Речка Максимка разлилась – берегов не видно, целые гривы затопила и сора... Радостная, солнечная пора наступила.

В один из таких дней Мявка решила выйти за калитку.

На той стороне улицы, наискосок, на деревянном тротуаре грелись на солнышке собаки, среди них и Русик. Это, видимо, и притупило бдительность Мявки, И она, приняхиваясь, стала удаляться от дома.

Вдруг одна из собак заметила её и с истошным лаем рванулась к Мявке. За ней – остальные. И, конечно, Русик.

Не сразу оценив опасность, Мявка метнулась к ближайшему столбу... Взлетев на достаточную высоту, она испуганно прижалась к серой, шелковистой от времени древесине.

Собачья свора окружила столб и с неистовым лаем прыгала на него, в злобе скребла когтями.

Я шёл на обед и был уже на крыльце конторы, когда услышал крик жены и резанувший по сердцу плач младшенькой своей – и всё на фоне собачьего везга. Бог знает что подумав, я кинулся на улицу... и увидел, как испуганная Мявка, попытавшись подняться повыше по одряхлевшему столбу, сорвалась на захлебывающиеся лаем и пеной пасти...

Когда пинками и штакетиной я разогнал собак, то увидел Мявку, жалкую, измусоленную, но живую. Я наклонился к ней: она, слабо попискивая, потянулась ко мне, волоча странно развернутую заднюю часть... И я понял, что опоздал: какая-то псина, возможно и Русик, прокусила ей хребет.

Дочь, горько всхлипывая, уложила Мявку в картонку на самые мягкие кукольные перины, укрыла одеяльцем, но её любимица жалобно попискивала и мелко дрожала. Чтобы не длить общих страданий, я взял ружье, коробку с Мявкой и ушёл в лес...

Русик появился в тот вечер тихо, поздно, поджав хвост, и впервые забрался в конуру сам, лежал там молча и не гавкал, как бывало, требуя кормёжки...

Прошло уже много лет с тех пор, а мы нет-нет, да и вспоминаем Русика и Мявку, их дружбу и её печальный финал.

«Может, он защитит её пытался всё же? – сказала однажды добросердечная дочь. – Прикрывал её: ведь жива она все-таки была. Может ведь?»

Мы как раз смотрели теленовости, и я с горечью сказал: «Нет, моя хорошая, где уж! Смотри: люди в толпе голову теряют, облик человеческий, а уж с собаки – какой спрос? Ей по природе простительно».

Тьётя

Помотавшись по северам, я осел в Тюмени. Получил двухкомнатную квартиру, поначалу не верилось: неужто моя? Но быстро привык. Появились и другие привычки, одна из-них – субботние поездки на базар. В тюменских магазинах в то время было изобилие продуктов и овощей, но на рынке – посвежее всё да по-выбористее. А тут и вовсе причина: дочери шесть лет исполнялось!

И вот, набрав всего, что глаз пожелал, тормознулся я на выходе. Закурил и по списку, даденному женой, проверил: всё ли купил? Тут меня дёрнули за рукав, и я услышал весёлый голос: – Эй, дядя! Возьми, не покаешься!

Цыганисто-смуглый пацан, сидевший на ящике из-под вина, одной рукой вцепился в меня, другой показывал на нечто, похожее на половинку небольшой желто-зелёной дыни...

– Бери, дядя, не раздумывай! Последний. Больше такой не увидишь!

– А что это?

– Эта?.. – голос пацана сел от удивления. – Эта ж черепа-ах! Азиатский черепах! Я Тюмен сто штук привозил – момент расхватал! Последний остался. Бери – ха-ароший подарок ребенка будет! Дешево отдам...

Посмеявшись над торговцем, я подумал: «А почему бы и нет? В своей «квартир» живём! И спросил: – А что она ест? И вообще...»

Пацан понял: сделка состоится, и приговаривая: «Он всё жрёт! Одуванчик и морковь, лук, редиска...» – стал заворачивать черепашку в бумажное гнездо...

Подарок мой вызвал сначала удивление, затем интерес. Тротю, так, не сговариваясь, назвали мы черепашку, рассматривали с любопытством, оглаживали жёлто-коричнево-зеленую, будто тиснённую, округлую спинку, целлулоидно-гладкое, похожее на мыльницу, розоватое днище панциря. Голова, ноги, хвост втянуты внутрь и прикрыты «бронешитами», да так плотно – не подковырнёшь!

«Мудра природа! – восхитились мы. – Броня крепка! не зря пернатые хищники, чтобы добраться до лакомого черепашьего мяса, бросают их с высоты...» Мы Троте также не внушали доверия: на контакт с нами она не шла.

– Уж не бульжник ли ты принёс? – подначивала меня жена.

Положив в игрушечную посуду ломтики моркови, картошки, перья лука, а также воды и молока, пододвинули всё к Троте и оставили её в покое. Перед сном проверили – всё целёхонько. Тротя не шевелилась. «Может, она ещё в спячке?» – подумали.

Ночью я проснулся от давно забытого – детского военных времён – страха: будто к нам в дом, осторожно скребясь, лезут дезертиры, о которых ходила ужасная молва. Прислушался: точно, словно шпателем: скр-г...скр-г! – из-под кушетки. Взял фонарик, осветил...

По плинтусу, в наклон, греблась... четырёхвесельная шлюпочка-скорлупочка! Короткие, в кожистых чехлах, будто механические, работали когтистые ноги-вёсла. По-змеиному плоская головка на морщинистой шее поблёскивала черными бусинками глаз. И словно руль, пошевеливался гребень хвоста...

Сообразив в чём дело, я посмеялся своим страхам и пошёл на кухню: испить водицы. Не сдержался и закурил заодно. Посасывая обмякшую сигарету, я заметил на паласе странный, в виде знака вопроса, чёрно-белый непонятного происхождения, искусно выполненный знак («Уж не инопланетного ли?»). Но обследование его я оставил до утра и лёг спать.

Утром меня подняла дочь:

– Вставай! Посмотри, что подарок твой наделал! Мама сказала, что это – его «работа»! А он кто – мальчик или девочка?

А я и сам не знал: забыл спросить у продавца. Но, сообразил:

– Раз Тротя, значит девочка. Тебе и убирать.

Дочь весело убежала за совком. И стала Тротя у нас жить.

В еде она была непривередлива: ела всё, что входит в наш винегрет. Любила свежее. Зимой мы выращивали для неё лук. Особенно любила она батун. Но и магазинный зелёный лук жевала с удовольствием.

Любопытно было наблюдать за ней во время трапезы. Из пучка выберет сначала самое длинное перо, жевать начинает с верхушки. Мнёт, мнёт сочную зелень, изредка, по-коровьи, встряхивая головой. А у самой на глазах слёзки аж наворачиваются! Горько – оно и черепахе горько! Жевков на пяток останется порой, не выдержит, слёзы примется вытирать. Тянет к набухшим слезами глазам-бусинкам когтистые, бронированные ноги, да никак не дотянется! И смех, и грех!

Вот тут-то и придёшь ей на помощь: ваткой или бинтиком промокнёшь ей глаза, а за неимением и пальцем смахнёшь слезинки. Всё равно благодарна: и хоть не лизнет, как собака, лбом не пободаётся, как кошка, но доверчивее становится. Смахнёшь с одного глаза, другой подставляет.

Тротя мы не мыли, но влажной тряпкой или губкой и панцирь, и кожу протирали, и это ей нравилось. Чувствовалось, что она к нам привыкла и днями, одна, возможно, скучала. Только кто-нибудь из нас приходил домой, сразу, словно ногтями по стеклу: тюк-тюк-тик-тюк-тик – Тротя! На «цыпочки» – на коготки



аж! – приподымется, голову вверх (чуть не по-лебединому изогнув) тянет, по-своему грациозная и красивая, вся – внимание и любопытство.

Спала она в «норе», сделанной в ящичке, но могла подремать где угодно: на солнышке, под батареей, в тёмном углу, за шкафом. Но стоило позвать её: – Тротя! Тротя! – как она вскоре выползала и озиралась. «Вот я! В чём дело? Что-то вкусное принесли? Что же?..» И бывала очень недовольна, когда её «вызывали», чтобы продемонстрировать гостям эту её способность – откликаться.

Наш микрорайон был на окраине Тюмени. Рядом с нами был заброшенный сад. «Яблочный», звали его дети. В этот сад, на первые травяные проталины вынесли мы Тротю. Спрятавшаяся в «домик», Тротя медленно, озираясь и пригнувшись, выдвинула «перископ», ноги и начала исследовать землю и всё растущее на ней в пределах досягаемости. Осторожно, как в замедленной съёмке, шагнула... Ещё, ещё... Надолго замерла, подставив солнышку голову с задёрнутыми плёнкой, как у птиц, глазами, и разом осела, раскинув ноги, и стала походить на большую божью коровку.

Пробыв в блаженном оцепенении некоторое время, Тротя начинала питаться. Ела листики кашки, пырей, но больше всего ей нравился одуванчик: и листья, и молодые, с собранными в жменьку соцветиями, стебли. Напитавшись, она снова млела под жарким майским солнышком.

В отпуск мы собирались в Крым. Тротю взяли бы непременно. Но судьба – злодейка распорядилась иначе: на «югах» случилась холера, и въезд в Крым запретили, пришлось сдать авиабилеты. Товарищ по «северам» ехал к своим родителям на Южный Урал и предложил составить компанию. В башкирской части Южного Урала мне приходилось бывать: красивейшие и благодатные места! – и мы приняли приглашение с удовольствием, поставив, правда, условие, что будем жить отдельно.

По красоте Южный Урал оказался выше всяческих ожиданий. Да и погода благоприятствовала. И быт – чистая горенка у жившей одиноко, несмотря на полдеревни детей, внуков и правнуков опрятной старушки, – всё устраивало: мы даже заплатили за месяц вперёд, но с питанием – дело было дрянь. "Что случилось с деревней? – недоумевал я. – Даже во время войны за деньги можно было молока, яиц, масла купить, были бы только! Да и хлеба можно было достать. А тут ждут, пока из райцентра привезут! Вот она, хрущёвская забота о крестьянке, каким боком вышла! «Молоко – от общественной коровы, хлеб – из общественной пекарни!» Конечно, нас поддерживали родственники друга, с нами и хозяйка столовалась. Но долго одалживаться было неудобно, и мы, дней через десять, с недолгой остановкой в дымном Магнитогорске, перелетели в Уфу, с сожалением расставшись с полюбившейся нам хозяйкой. Как она будет жить? Ведь за всё время лишь один раз, и то по делу, забегала к ней правнучка. Чем она будет питаться? Святым духом?

Впрочем, не всё и не для всех было так плохо: мы рыбачили, собирали грибы, наслаждались природой. А Троте – вообще было раздолье! Правда, хлопот

своей маленькой хозяйке она доставляла немало: медленно, но верно выгребалась в какую-нибудь щель, зарывалась в песок... Глаз да глаз за ней был нужен!

Уфа показала раем: всё есть, что душе угодно и – дёшево.

В Уфе мы не были несколько лет, за это время у брата дочь родилась – этакая расейская беляночка с японской раскосинкой в глазах незабудковых, недавно только лопотать начала. Как увидела черепашку, так и прилипла к ней: – Тьеёя... Тьётя... Тьётя!

А дочь единолично заниматься позволяет...

Всё бы ничего, да отпуск пролетел: отъезжать пора. Ну, как? спрашиваем дочь. она, чуть не плача: «Ну, а как ещё?..»

И оставили мы «Тьётю» – так стали все звать Тротю – в Уфе... А осенью получили печальное известие: упала наша Тьётя с балкона и разбилась.

Дочь очень расстроилась, горько плакала. «Если бы не холера, – сказала потом со вздохом, – так и жила бы Тротя ещё сто лет!»

По всему периметру нашей квартиры, над плитусами, процарапала Тротя глубокую борозду, и при уборке мы всегда вспоминали её. Потом сделали ремонт и вспоминали её не реже. Только выходя с рынка, я останавливаюсь, словно жду, что меня снова кто-то окликнет: «Бери, дядя, не раздумывай! Последний такой черепах, больше не увидишь!»

И в самом деле: больше не видел, а то бы купил – у меня и в нынешней квартире балкона нет.

Сёмка

Этот котёнок, точнее, уже молодой кот, будет жить у нас, мне кажется не меньше, чем Мартын...

Марина, подруга дочери, позвонила: «Кошка окотилась... Котят уже разбирают. Лучших! Я вам одного оставила: самого лучшего!»

Дочь сходила, привела пушисто-жёлтого, словно цыплёнка, едва продравшего смурные, фиалковые глазёнки котенка... С матерью, из соски, они стали кормить его: ничего не получалось! И тут – как положено! – явился я...

«Во-первых, ты выкупила его? Нет? Обрато, иначе сдохнет. И, во-вторых, пусть с неделю мамку ещё пососёт!» Дочь не очень охотно, но всё-таки согласилась на это. Ей было трудно: давно она ждала этого момента – завести кота в доме, но неприятия его со стороны близких она не представляла.

И вот, через неделю, «выкупленный» выкормленный кошкиным молоком появился у нас пушистый, светло-рыжеватый, пятнами, в отличие от Мартика, без тигриных полос весёлый котик с фиалковыми глазами: они меня и умиляли больше всего!

Что это были за глаза! И вообще – вся его кошачья мордочка!

В телерекламе «Вискас» котята не шли с ним ни в какое сравнение!



Наш Сёма был выше их по всем статьям!

А уж умён был – слов нету!

И ещё: не зря горорят, что рыжий – заводной!

Настоящая «шаровая» молния! Домашняя!

Встанешь ночью попить или что... В самом неожиданном месте, в самое неожиданное время когтитя: «Здрасьте! Вот он – я!»

«Домашняя шаровая молния... Привет! Этого не хватало».

Пока я печатал этот опус, Сёмка успел многократно пробежаться у меня под стулом, выписав вокруг ног замысловатую «восьмёрку», пробежать по кромке ковра под потолком и, пофырвав, распушив хвост, сморщить палас и «улететь» белкой-летягой в другую комнату...

До моих джинсов и туфель, как это делал Мартын, Сёмка ещё не добрался. Но порог уже «пометил»: видимо, почуял соперника, – из тигриного ж семейства! Или – некорректное поведение хозяина... Видно, нечаянно в чём-то провинились мы перед ним.

... утром, в темноте ...пока идёшь на кухню или в туалет, Сёмка успевает, словно вышивая «верёвочкой», мягко коснуться и нежно своим султанчиком стоящим хвостом каждой твоей ноги, не мурлыча, а чуть похрюкивая и сопя. Живым и сущим веет от него с утра – братом нашим меньшим.

В этот момент прощаешь ему всё: становишься братом.

И тут уже неважно: кто старший, а кто – меньший.

Главное: братья.

Ванька-крыс

Давнишняя наша знакомая по Сургуту не раз навяливала нам морскую свинку: «Ухода – а-абсолютно никакого! Самообслуживается. Неприхотлива: что сами, то и она будет есть. Вернее, он. Разве что клеточку почистить... А уж умница! Ласков, привязчив...»

Интуитивно я отказывался категорически.

Наконец она применила запрещенный приём: заговорила о морской свинке в присутствии дочери.

После привычных дифирамбов свинке, этому чуду природы и благодетелю человечества, она добавила: «Да и ребёнку полезно общаться с животными во всех отношениях. Чувство долга, ответственности... Интерес! И тэ дэ, и тэ пэ!»

Дочь, так и не дождавшаяся новой Тьети-черепашки, доводы оценила. Заглядывая в глаза то матери, то мне, попросила: «Давайте возьмем, а? В школьном зооуголке я свинок видела. Учительница сказала, что во втором классе и нам дозволит дежурить и ухаживать за животными. А пока я дома поучусь, ладно?»

Что тут скажешь? И вечером того же дня по-девичьи милый длинноволосый подросток принёс птичью клетку с расхваленным чудо-животным. Весело и

лукаво напутствовал он замершую от восхищения дочь: «Люби Ваньку и смотри за ним. А ты, Ванька, – постучал он по клетке, – не шали и слушайся новую хозяйку, она хорошая!»

Ванька, это странное красноглазое существо, покрытое белой жёсткой шерстью-щетиной, встав на красные, как у гуся, лапки и опершись на голый, красный же, по-крысинному длинный хвост, просунув, насколько можно свою мордочку наружу, чем-то, в самом деле, напоминающую свинячью, внимательно, казалось, слушал бывшего хозяина и соглашался с ним.

Признаться, если я и видел прежде морских свинок, то только издали, но и тогда они не представлялись мне симпатичными. Действительность оказалась похлеще: Ванька настолько был, с моей точки зрения, омерзителен, что я содрогнулся... Дочь же была очарована и начала интенсивно «смотреть» за ним: чистить, кормить-поить. Брала его на руки, чуть не целовала, радостно визжала, когда Ванька стал бегать по её рукам, взбираться на плечи и сновать вокруг шеи, тычась в неё холодной красной носопырккой. Жена с любопытством наблюдала за ними. Когда водворяли Ваньку в клетку, дочь хотела даже поставить туда для него кукольную кроватку с постелью, – так он понравился ей.

Я ни во что не вмешивался, но отношение своё к новому жильцу выразил тем, что стал его звать Ванька-Крыс. Новая «кликуха» пристала к Ваньке, как оказалось, она полностью соответствовала его разбойничьему нутру. Для начала, недельки уже через две, Ванька-Крыс стал неохотно возвращаться в клетку на ночь или при нашем уходе: прятался, а когда ловили, огрызался, в клетке ворчал. Его янтарно-красные глазки начинали рубиново огниться.

Постепенно Ванька-Крыс переходил на мое попечение: дочь ходила в школу, в балетную студию. А тут ещё и тёплые весенние денёчки наступили с девчоночьими соблазнами: классиками на тёплом асфальте, подружкиными секретами, первыми цветочками... На Ваньку-Крыса и оставалось времени – чтоб поиграть лишь. Я понимал всё и стоически нёс полицейско-надзирательные функции и функции коммунальные: чистил клетку, заботился о корме и воде, «пас» его во время прогулок (без надзора он мог совершить разорительные потравы в цветочных горшках, в сумках и кухонных коробках, на письменном столе – где угодно!)

Однажды, придя с работы, я был удивлён: клетка заперта, а Ваньки-Крыса – нету! «Побег» – констатировал я. Но как он мог выбраться? Раздвинуть можно только верхние проволочки – не в прыжке же! Даже на «цыпочках» ему не дотянуться: не на хвост же он встал!»

С тех пор клетки для него не существовало как бы: покидал её магически! По привычке, правда, в открытую заходил поесть и поспать. Потом и это стал считать большим одолжением: исчезал, как невидимка, ни слуху, ни духу. Но стоило мне предположить, что он мог незаметно выскользнуть, на моё счастье, на улицу и его придавила первая же собака или кошка, как он тут же появлялся: не потеряли, мол, меня ещё?

Жена и дочь укатывались со смеху, наблюдая за вынужденной моей игрой с ним в кошки-мышки.

При очередном исчезновении Ваньки-Крыса, решившись найти его тайное убежище, я становился на колени, заглядывал под диван, под и за шкафы, шифоньер, прикроватные тумбочки. В комнатах, в кладовке, в ванной и в туалете, в прихожей – везде, веником, бельевыми щипцами, лыжной палкой, подсвечивая себе фонариком, прощупывал я возможные убежища Ваньки-Крыса. И каждый раз обнаруживал его спокойно чистившим свою поросычью мордашку где-нибудь на видном месте: на паласе, коврике, диване, табуретке! Он, понурясь, давался в руки. Мордашка его становилась по-сайгачьи горбоносой, он безропотно выслушивал мои не отличавшиеся разнообразием сентенции...

Наконец, игра «в прятки» надоела мне, и я укрепил клетку, переплетя слабый свод, как корзину, медным проводом: получилось и надёжно, и небезобразно (сам я не без горделивости поглядывал на свою работу: не клетка, а пагода с позолоченной крышей!). Я торжествовал: Ванька-Крыс сидел взаперти!! А он, поняв, что проиграл, загрустил. Вспоминая о вольной жизни, ел вяло, не прыгал, услышав звонок. На прогулки я его выпускал, но буквально «пас» при закрытых дверях в другие помещения.

Женщины соболезовали Ваньке-Крысу, подтрунивали надо мной.

А через неделю он снова совершил побег. Хотя он и поздоровел у нас и, кажется, подрос, но не мог он протиснуться сквозь туго оплетённую решётку, в этом я был уверен: без сообщников ему не сбежать!

После побега он не давался в руки никому и превратился в Ваньку-Невидимку!

О том, что он жив-здоров, свидетельствовали не только шорохи по ночам и легкий топоток, но и превращение еды, которую сердобольные женщины оставляли на кухне дважды в день, в экскременты...

Повальные «облавы» на Ваньку-Невидимку я уже не устраивал, так, эпизодически, заглядывал то в подоконный шкаф на кухне, то в антресоль, навёл порядок под ванной, обследовал газовую плиту, плитуса...

Потихоньку я начинал верить в мистику, но всё разрешилось банально просто!

У нас в то время был маленький холодильник «Саратов». Был он без колёсиков и регулировочных винтов, стоял на полу плотно – даже мысли не было, чтобы заглянуть под него. Однако Ванька-Крыс нашёл в его задней стенке лазейку и забирался под холодильник, становясь Ванькой-Невидимкой.

Подвёл Ваньку-Крыса его длинный красный, сходящий на нет, хвост.

Как-то, будучи без очков, заметил возле холодильника что-то красное размером со спичку. Я нагнулся, чтобы поднять это «нечто», а оно... исчезло; и я всё понял.

Остальное было делом техники, как говорится.

Однажды я уехал в длительную командировку. А, вернувшись, не обнаружил ни клетки, ни Ваньки-Крыса: отнесли его, оказывается, мои женщины на

станцию юннатов. Дочь иногда ходила к Ваньке-Крысу в гости, хваля его: шустрый, весёлый!

Издали и мне он не казался таким безобразным и, признаться, я даже скучал без него.

Пухиня

Через некоторое время после гибели Мявки, у нас появилась кошечка сибирской породы, без притязаний ласково названная Пухиней. Была она пушиста, игрива, а мастью (окрасом) походила на Русика.

С тех пор, как Русик, с моей подачи оказался у Марфы-охотницы (или вообще сгинул), Пухиня, смягчив горечь утрат, оказалась в центре внимания нашей семьи: взрослых и детей.

Держалась Пухиня с первых же дней независимо до дерзости: прыгнет на колени, размурлыкается, вьюном крутится, вызёвывается, шутя покусывает ладошку, кожу коготками щекотливо поцарапывает, и вдруг – ширли-мырли! – и нет её.

Младшая дочь, главная её радетельница, воспитательница и заботница, самолично ей связала кофту-мантилью, выделила из игрушечного гарнитура кроватку с мягкой пуховой периной и беличьим салопом, а уж поесть – первым делом что вкусное: Пухине! Мурлыкает Пухиня, мурлыкает, а потом резко из цепких ручек молодой хозяйки выскочит – на кухню, в подполье, а там – ищи ветра в поле! И хотя у дочери не только руки в «царапушках» – бывает и личико! – она ждёт Пухиню, зовёт и лелеет.

Когда наступила зима, туго пришлось Пухине: заваленки вокруг дома засыпали, отдушины из подполья подзатыкали, без спроса – не выбраться!

Голос у Пухини тихий, нежный: сидит у двери, на двор просится, а никто не слышит.

Выйдя первый раз на снег, она долго принюхивалась, осматривалась по сторонам, глядела в небо, оборачивалась назад, только потом опустила лапу на неведомую белую поверхность. Ничего не случилось, и она проторила первую тропку. Снег ей, видимо, понравился: она с удовольствием справляла нужду в снег, закапывая её, поднимала настоящую пургу.

На лапах, между пушистыми метёлками, у неё нежные розовые подушечки, в которых она прятала коготочки-бритвочки. Однажды она, прошмыгнув за кем-то незаметно, оказалась на улице одна. Забраться на чердак или спрятаться в коробе теплотрассы она не сообразила. Когда я увидел её, она, попискивая, переминаясь с ноги на ногу, сидела на крыльце. Лапки у неё были ледяные и мокрая холодная носопырка. Я сунул её за пазуху и вошёл в дом, тут же дал тёплого молока, укутал и положил возле обогревателя. К вечеру она оклемалась: подушечки на лапах чуть припухли и покраснели: я думал, что этим дело и обойдётся. Оказалось, нет: обморозила кончики ушей, стали они у Пухини по-соболиному



округлые. Урок пошёл впрок: на улице втихаря больше не выбегала. А в остальном – благополучно дожидка до лета.

А лето Пухиня встретила взрослой симпатичной кошечкой. Когда потягивалась, вздыбив шубку, казалась большой-пребольшой. «Как моя шапка – когда на голове!» – восклицала дочка. Летом Пухиня пропадала во дворе. Дочь жаловалась: «Есть плохо стала! Не заболела ли?»

Причина «плохого» аппетита вскоре выяснилась.

Я сидел на деревянном тротуарчике во дворе, у летнего водопровода и чистил рыбу. Из картофельной ботвы неслышно вышла Пухиня и стала ласкаться. Интуиция у неё поразительная: когда мне было не до кошачьих нежностей, не подходила. Она потёрлась о ногу, мякнула. Я дал ей потрошёного чебака. Зимой она принималась за свежую рыбу с урчанием. А тут – лениво обнюхала чебака, взглянула на меня и только после этого принялась за еду, с явной неохотой, чуть ли не брезгливо. Удивлённый такой привередливостью я внимательно присмотрелся к ней и заметил пуховое пёрышко, прилипшее к её плутоватой мордашке. И тут до меня дошло... «Воробьёв промышляет!»

В другой раз, рано утром увидел, как она, лёжа на крылечке, на солнышке, играла с нежно-палевой мышкой-полёвкой, ещё довольно шустрой. «Охотница Пухиня!» – похвалил я её. Но оказалось, воробьёв и мышей ей – мало!

Через несколько дней, когда я шёл на обед, возле калитки окликнули меня соседские ребята: «Дядя Витя: Глите-ка, кошка-т чё делат!» – и показали наверх. Из-за карниза мне ничего не было видно, и я подошёл к пацанам...

По-альпинистски, грамотно, на трёх точках опоры: держась за шест и скворечник, свободной лапой Пухиня пытается выудить истошно верещавших скворчат. «Пухиня, брысь! Брысь, Пухиня!» – закричал я, но она не отреагировала. Тогда я кинул в неё палку, и она, как белка-летяга, спланировала на крышу и скатилась с неё кубарем во двор. Тут и скворцы-родители прилетели, погормозились малость и успокоились: видно, коротка оказалась у Пухини лапа. И я понял, почему онемел-обесптичел второй скворечник – у сарая, хотя был он по весне заселён.

Чесались руки высечь тальниковым прутиком разбойницу Пухиню, да всё не попадала она мне: серой тенью прошмыгивала до тех пор, пока злость на неё не истаяла. А как истаяла злость – Пухиня тут как тут «му-мыр-рой...», – глаза разбойные хитро сощурила, лоб под ладошку суёт, ласковой лапой пальцы перебирает, щекочется... Да и дочка просит, заступает: «Не будет больше Пухиня птичек обижать, сырое есть не будет: только варёное...»

Что делать, простил её. До поры, до времени.

Русик

За лето Русик превратился в молодого весёлого пса, в золотисто-карих глазах которого – смыслённость и любопытство. Улыбчивая, розово-жаркая пасть:

влажно-белые клыки, быстрый, шершаво-нежный язык. Пушистая, с густым светлым подшёрстком и жёсткой, чернявой снаружи, остью – «шуба» сторожкие уши; по спине – чёрная полоса, переходящая в задорно загнутый каралькой хвост, по-беличьи пушистый, с едва заметной рыжинкой.

При встрече, соскучившись, отрывисто, с нутряным подскулёжем, гавкнет, припадёт к земле, передними лапами, по-заячьи, побарабанит, закрутит хвостом так, что – того гляди! – как вертолёт, – взлетит! – и, отстраняйся – не отстраняйся, кинется на тебя, лизнёт в лицо, обдав жарким звериным дыхом.

В тайгу, на буровые, я его не возил.

Местные ханты жаловались, что собаки наших работников распугивают зверя, дают выводки и мешают оленям. Да и для вертолётчиков собаки – лишний груз. Поэтому с собачатниками я вёл длительную и безуспешную борьбу: собак всё равно возили! Я добился того, что мною стали собак пугать! Стоило хозяину сказать, к примеру: «Пальма! Главинж!» – и та нырнула под сиденье и лежала там тихо, как будто её и нет... Чистопородных лаек у нас не было, но и те, которые были, поражали сообразительностью: снимешь её с рейса, а она потом, грузовыми, перелетая с буровой на буровую, всё-таки прилетит к хозяину!

В суматошном августе выдался у меня как-то более-менее свободный денёк, и я воспользовался приглашением старого знакомца, капитана катера «Ярославец», сходить на рыбалку. «Жор у них сейчас, у щук-эт. На люминевую ложку – зывают!» – пояснил он.

У старшей дочери каникулы заканчивались (у нас-то – восьмилетка! Вот и пришлось к бабушке, в Уфу, отправить, – оторвать от родительского наседства и пригляда: бабушка – хорошая, внучка – золотце, а без родителей – всё же как без родителей: сирота не сирота, а кровиночка – как отдали, будто после сдачи крови – в чужом теле... хоть и у родни). Промелькнули у меня мысли, выше в скобки взятые, и я решил: поехали!

Предложил дочерям: согласились.

«Только с Русиком!» – поставила условие младшая.

Стоял нежаркий солнечный день. Я отрешился от всяких забот; с интересом, свежим взглядом, – по-новой! – рассматривал посёлок на взлобке, пирс, заваленный оборудованием, грузами, лесистые берега...

По особой прохладе и прозрачности воздуха, тонкому, пронзительно-пряному вкусу его, по холодно-серебристому тону солнечных бликов на воде, я с грустью понял, осень дыхла! Издалека, намёком, но – кому надо – поймёт! И я понял.

Я понял – дело уже к осени. Но пока – владычествовало в безмятежной голубизне солнце, берега – зеленели, и не было в той зелени ни одной золотинки – осенней молнии! И солнце грело – благостно и приполярно неуходимо, хотя по всем часам был уже поздний вечер.

Палило солнце. Слепительно и нежарко. Катер, взрезая желтовато-зелёные воды Ваха, шёл навстречу солнечным бликам: они, расколотые, уходили в самые глухие заводи, тревожили тёмные омуты, а в них – налимов...

Ко мне, на парково-вычурную скамейку, подсел капитан, «Дмитрич». Мы наблюдали за корабельной жизнью.

Старшая дочь в капитанской рубке, не слыша ничего, кроме команд чернявого капитан-механика, «рулила», судорожно вцепившись в полированные спицы дубового рулевого колеса-штурвала, вращала его в нужную сторону, помогая себе всем телом и гримасами лица. Я посочувствовал ей: лестно, но – тяжело и жарко. Младшая резвилась с Русиком на палубе.

Было время массового нашествия, как в мае, «майских» жуков, слепней, по местному прозванию – «матросиков». Носились они ошалело, стаями, будто слепые. Попадут в лоб – как хороший щелбан, а в глаз – взвоешь! Меня, например, ни разу не куснули, а в глаз – били. Впрочем, если ничем не заниматься, атаки их можно отбить. А так, со стройной, золотисто-шмелиной полосатостью, они – красавцы! Это с человеческой точки зрения. С точки зрения Русика – они ещё и вкусны!

Сезон «матросиков», видимо, проходил, и человеку поймать его не составляло труда. Этим и занималась моя младшая: она ловила, Русик их со вкусом пожирал. Поймав крупного, изумрудноглазого красавца, дочь визжала от восторга, держа его, на излёте руки, за звучные крылышки. Русик, оскалившись, сморщив влажно-чёрную носопырку, осторожно пытался взять «матросика». Иногда, во время «передачи», «матросик» взлетал, но – зря? Со своей хозяйкой Русик играл, а с прочими вёл себя естественно: добыча и охотник! Завершалось это обычно мгновенным поворотом головы и движением челюстей: клац! – проглотил со слюной и снова вопрос в преданных глазах: «Давай ещё поиграем?»

Но бывали у него и проколы. Получив от хозяйки «матросика», глотая, он вдруг терял его в своей пасти. А тот, не будь дурак, вырвавшись на свободу, ослеплённый слюной, взмывал свечёй вверх. Русик в это время конфузился и, обнюхивая палубу, шёл к борту и смотрел то ли в прибрежные леса, то ли на разбегавшиеся буруны.

Урей для катера был мелковат. Пришвартовав его, пошли на место рыбалки. Урей – это старица реки на изгибе.

Снасть нехитрая: тут же вырезанная талица, к ней – трёхметровый кусок толстой жилки с блесной. Ходи по илистому берегу урья и бросай.

Раз – бульк! Два – бульк! Три – бульк!.. А на четвёртый раз (а то и на третий. А на пятый – наверняка!) – дёрг! За-це-пи-ла! Тут уж элементарно – уметь подсечь и выволочь!

Яркая, зубастая, злая; с глубинной тёмной зеленью в глазах и чешуе. Не подходи: укушу!

Русик сунулся – щука хлесть его хвостом по мордасам! – он и хвост свой пушистый прижал, отошёл. Неужели зубами – за чёрную носопырку? Посмотрел: вроде нет. Но, тем не менее, пока щуки не уснули, к ним он больше не подходил. «Молодой... глупый пока!»

Берег урья был вязок, поэтому дочери малой я дал удочку с маленьким тройничком на который был насажен живец, и посадил на брёвна у залома. Мы на-



ловили обусловленное количество щук и уже собирались «сматываться», когда услышали звонкий призывный голос: «Па-па! Ой, сю-да! Помоги!..»

Оказалось, у дочери «кто-то поймался». Она не стала вытаскивать, чтобы добыча не сорвалась: ждала нас. Рыбка – вон она! Уже на катере, иронизируя над собой, она в который раз, чувствуя себя всё же героиней – щука-то её оказалась самой крупной! – вновь переживала потрясающие для неё ощущения.

«Рыбка-живец ходит – чуть-чуть дёргает. Вдруг потом такой дёрг – я испугалась прямо! «Папа! – кричу, – у меня щука удочку отнимает!» Папа помог, и вот, Русик, какая она – наша с тобой щучка...»

Дочь гладила Русика и заливалась радостным смехом.

Русик подхалимничал, повизгивал, крутил хвостом и заглядывал ей в глаза. "Матросиков" он не ловил и от пойманных отворачивался: сначала боязливо, затем алчно, он сожрал брошенную ему сонную щуку. Уезжали мы в сумерки. Впереди – огоньки посёлка, позади – золото заката.

Но рассказ-то этот у меня о Русике! Поэтому продолжаю о нём.

Осень, как я и предвидел, пришла. Сначала за вертолеткой, пробежавшись за грибами, я увидел малюсенькую в багрянце, рябинку, рядом такого же росточка ёлочку, на которой было несколько жухлых иголок, и светло-жёлтый... ясеневого свечения, берёзовый листок, и шмыгнувшего из-под неё, совсем домашней расцветки, молодого рябчика...

И я вспомнил, что в первый год, как приехал, я бегал в эти леса с ружьем за рябчиками, а в устье Максимки – порыбачить до работы! И решил возобновить "допланёрочные" пробежки, приобщив к ним и Русика. Русик принял их на «ура»! Но я впал в уныние: без него за час-полтора я одного-трех рябчиков «снял», с ним – ни одного, он всех распугивал весёлым лаем, гонялся иной раз до обеда, приходил высунув язык!

И я решил нарушить свой принцип.

«Русик – умный, но – необученный. Всё равно ж на буровые собаки летают... Умные! Обученные! Охотничьи! Поякшается он с ними, глядишь, и научится!»

Нарушил я принцип, и Бог наказал меня...

В октябре я полетел на дальнюю буровую, где, как я знал, работало несколько владельцев хороших собак, и прихватил с собой Русика. Полёт для него был нелёгким испытанием: впервые! Был бы он поменьше, за пазуху бы сунул, а так – зажал сапогами, морду на колени положил: глажу, лапами меховой куртки прикрыл. Слышу и дрожь кожи, и буханье собачьего сердца. Сквозь грохот турбин успокаиваю...

И долетали бы, и всё было бы «тип-топ»! Да дёрнуло же командира, при первой посадке, спросить меня о каких-то нюансах полётного задания. На секунду я привстал, чтобы взглянуть на штурманский планшет.

Ответив, тут же опустился на сиденье, однако тёплой тесноты между голенищами сапог я не ощутил. Поняв, взглянул в блистер и... увидел мчавшегося по сору Русика. Бежал он в сторону тальниковой голой гривки, за которой, у мощ-

ной кедровой гривы, доживала последние дни буровая: заканчивались работы по исследованию скважины.

Осенний лётный день короток: ни минуты я не мог потратить на возвращение Русика. И только прилетев на дальнюю буровую, связался по рации с геологом, занимавшимся исследованием той скважины, и попросил его привезти Русика в посёлок. По его словам, Русик в руки не давался, а потом – исчез. Но перед его исчезновением на буровой была Марфа-охотница, известная в тех краях владелица большого оленьего стада. И что, мол, Русик ей очень понравился и даже давался ей в руки. Не исключено, что она и забрала его с собой.

Дома у меня все расстроились, а младшая всплакнула: «А вдруг она, Марфа эта, кормить его плохо будет и бить будет – длинной палкой, которой она оленей била я видела! Она злая! Зачем вот ты увозил Русика? Не надо было!»

Как мог, я успокаивал дочь: «Да ему – по-собачьи-то! – у Марфы будет лучше! Он будет ей белок, соболей облаивать... Глухарей... Песцов. И оленей поможет пасти – их у Марфы много! Не пропадёт Русик! А Марфа тебе за него шапку беличью сошьёт, а то и соболью!..»

«Жди, сошьёт!.. После дождичка... – дочь сквозь слёзы усмехнулась. – Марфа сюда и не приедет, я от Алогиных знаю...»

Приезжавшие в посёлок ханты останавливались у Алогиных, возле почты, это все знали.

Так и канул Русик в тайгу – как в воду.

Ласка, Берта и Балбес

Мой знакомый (мы дружили семьями) перевёлся в другую экспедицию и оставил мне свою собаку по кличке Ласка. Ласка была одного помёта с пропавшим Русиком, но другой конституции и окраса: была она поджарой, короткошёрстной, чёрно-белой со звёздочкой на изящной головке и белыми бровями над умными, с живым блеском, тёмными глазами.

Ещё до пососка, растроганный хозяин символически передал мне собаку. «Вот, Ласка, у него будешь. Теперь он – хозяин. Пока!» И подтолкнул собаку ко мне. И Ласка всё поняла: признала меня за хозяина, стала рядом. Я нагнулся к ней, потрепал по загривку, почесал за ушами, она ткнулась холодным подрагивающим носом в ладонь, потом лизнула её. «Ничего, Ласка, не бойсь!» – сказал я тихо и ещё раз потрепал загривок.

И стала Ласка жить в бывшей конуре Русика.

Как и Русик, она носилась Бог знает где. Но и без неё, ни одна собака в наш двор не совалась: в этом отношении Ласка навела порядок. Чужих людей (пришлых, да и поселковых, кто впервые приходил без сопровождения хозяев или ограниченного круга знакомых) она также не впускала во двор. И вообще была не очень ласкова – кличку не оправдывала.

К весне Ласка оценилась. Добрых кутят разобрали, а двух оставшихся утопить жена без меня не решилась. Когда я приехал, кутята подросли, и дети даже привыкли к ним, дали клички – Джек и Берта – и считали, что они должны остаться у нас. Супротивничать я не стал: пусть живут.

Через полгода Джек перерос родительницу. Был он беляв, мосласт, с туповатой, по-дворянжьи безобидной мордой, питался остатками, был до удивления простодыр: чуть не изо рта у него Берта и Ласка вытаскивали случайно доставшиеся ему лакомые кусочки. За что и получил от меня вторую, более подходящую, кличку – Балбес.

Берта окрасом повторяла мать, только мех у неё был пушистый, с густым подшёрстком. Ростом она чуть пониже Ласки, но за счёт меха казалась толстой и приземистой, мордочка у неё плутовья, лисья. Если выставлялась одна посуда с пищей, сначала Ласка ела, потом Берта, Балбес дожирал остатки. Ласка, как бы голодна ни была, ела всегда аккуратно, и не спеша. Если кто-нибудь из нетерпеливых сотрапезников совался к ней, она в лучшем случае зло скалилась и угрожающе рычала, а чаще пускала клыки в ход. Берта брала с неё пример и также огрызалась на Балбеса. Интересно, что он на них не обижался, и во время отдыха, после кормёжки, играл с ними, весело рычал и гавкал, валялся на спине, а когда спали, был всегда с краю.

Бегали по посёлку или по окрестным лесам они строго определенным строем: Ласка впереди, справа от неё, на полкорпуса отстав, Берта, в такой же позиции, но уже относительно Берты, Балбес. Сокращения дистанции не допускалось под угрозой трёпки.

Пока была одна собака, мы для неё специально не готовили: хватало остатков с нашего стола. А для троицы пришлось варить, и они привыкли, особенно зимой, к двухразовой кормёжке по расписанию.

Обычно я вставал в шесть утра. Готовил себе завтрак и что-нибудь собакам (вермишель или кашу из концентратов, сдабривая всё мясной обрезью, салом и т.п.); не позднее половины седьмого, собравшись на работу, выносил им дымящееся на морозе варево. Пока я собирал их стывшие чашки, они молча крутились под ногами, виляя приспущенными книзу хвостами. Ласка ела в меру, часто оставляла объедки, у Балбеса – вечная безсытица: сожрёт своё, пойдёт чужие миски облизывать. Иногда это ему сходило, а другой раз сотрапезники и окрысятся: хоть и замерзнет еда потом, а ему не дадут! Вот уж поистине собачья психология!

В другой раз приедешь ночью с буровых, только разоспишься, а они перед тёмным кухонным окном в три глотки заявляют о себе: «Гав! Гав! Гав! Давай, хозяин, жрать! Режим питания нарушаешь!» И громче всех Балбес: октавистый басыще к зиме у него определился!

Куда деваться? Приходится вставать – кухарничать. Как снова уезжаю, жена говорит не шутя: «Бери с собой! Приучил, не дают поспать ни мне, ни детям. Ни два, ни полтора: что нам в такую рань, делать? Забирай!»

По теплу решил я свозить их на буровую: затащил Ласку в вертолет, а Берта



с Балбесом, поскуливая, сами по трапу поднялись (пилоты подтрунивают: «Никак, Николаич, на медведя, а?»).

Привезти-то привёз, а улетать надо – их нет... Ведь только что, дрожа от страха, со скулёжом, таскались за мной длинным хвостом даже по буровой, мимо грохочущих механизмов! Свистел, звал, едой приманивал – не откликаются. Неужели в тайгу смотались? Или под балки попрятались? На меня осерчали? Попросил мастера, чтоб, как появятся, отправил в посёлок, и улетел без них навстречу детским упрёкам.

Узнаю потом: появились да не дались, издали обошли несколько раз буровую и исчезли. Через некоторое время видели их уже на другой буровой, на третьей... Держатся настороженно, в посёлок не заходят, на помойках не роятся, на приманку не реагируют, на зов не откликаются. Женщины мои поедом меня едят, пилят денно и ночью: «Русика тебе мало? Теперь и эти сгинут».

Недели через три после этого у меня был день рождения. На работу я «нарисовался» в светлом летнем костюме, в праздничном настроении: в кои-то веки выпала возможность встретить день рождения дома! Меня поздравляли, а я в свою очередь, приглашал всех на банкет в столовую. А на рации мне преподнесли «подарочек»: на одной из буровых во время каротажа скважины при подъёме прибора оборвался кабель, стали ловить его самодельным «ершом» – только усугубили дело. Наглухо закупорили скважину в кондукторе стальным кабелем и сломанной самоделкой.

И я, не переодеваясь, прихватив необходимые «железки», полетел на аварийную буровую с надеждой, что к вечеру вернусь, а посему заказ на банкет в столовой не снял...

... Когда из скважины показался всклокоченный стальной клубок (на жаргоне каротажников «ведьма»), кто-то со смехом произнёс: «Это, Николаич, подарок вам на день рождения!»

Но настоящий подарок мне, в самом деле, был предусмотрен судьбой иной...

Стою я в ожидании вертолета на бревенчатом плоту-площадке, так как вокруг буровой – непролазное торфяное болото. И авария-то, по сути, из-за этого случилась: каротажный подъёмник стоял на хиленьком плоту и при первой же затяжке прибора и последовавшего рывка его развернуло вместе с настилом. Жду я вертолет: прислушиваюсь, в горизонт всматриваюсь... И вдруг вижу: от леса по болотной жиже не идёт, а почти плывёт моя... троица! Пока я бегал в котлопункт, Ласка уже забралась на вертолётку, припала к настилу и, укоризненно мотая головой, завывала. Потом сделала ещё несколько шагов и снова припала головой на лапы и завывала-заплакала-засмеялась. За ней следом ползли Берта с Джеком и вторили Ласке. Издали я кидал им котлеты, но подбирал их, да и то мимоходом, только Джек-Балбес... Ах, какой это был подарок!

И мы очень сожалели, когда, приехав из длинного, за два года, отпуска, не застали их в живых: какой-то шкуродер позарился на пышную, под полярного медведя, шубу Джека-Балбеса, а уж Берта с Лаской, видимо, за компанию пошли.

Зайка, зайка, потруси!

Как-то у нас появилась возможность облетать, в поисках дефицитной мелочёвки, буровые прежних лет.

«Обязательно надо на Сабун слетать! – предложил старожил, начальник отдела снабжения. – Там вертолётный вариант был. Завозили МИ-шестым, а потом «восьмёркой» людей только вывезли. Добра там!..»

Залетели на Сабунскую буровую. Вертолётка большая, как на базе, под тяжёлые вертолеты, но – далеко от буровой, на болотной чистине.

Идём по густо заросшей лежнёвке к буровой.

На буровой – жуткое ощущение: будто на летучем голландце!

Почти комплектная установка: дизельный блок, насосный, вышка стоит. Даже талевая оснастка не снята! Ветер в таях и конструкциях вышки свистит – будто в корабельных снастях. Сквозь фермы оснований пробиваются кое-где осинки, берёзки... Приглядевшись, замечаю, что кое-какие узлы с оборудования сняты.

Идём в жилой поселок. С интересом рассматриваю маленькие, на двоих, балки – скворешники, сделанные из соснового бруса-сотки. Заходим в один из них... Из балка, между ног, как будто кутята или котята, неторопливо проскакивают... серые зайчата! Хлопаем в ладоши, гукаем, – хоть бы что! Не боятся! «Зайка, зайка, потруси!» – запели с прихлопом. Малыши замерли, ушами водят, а взрослые вняли: потрусили под балки, то ли от греха подальше, то ли просто в холодок.

«Между прочим, – заметил мой наблюдательный сопровождающий, – зайчата второго помёта. Хорошо устроились!»

«Идёмте, к шламовым амбарам сходим, – чуть погодя предложил он. – Это буровая долго бурилась, с авариями, в основном из-за плохого снабжения: с «винта» ведь все, так что песочку много намыли... А он здесь кварцевый, крупнозернистый, хоть стекольный завод строй!»

И в самом деле: за насосным сараем виднелись светлопаловые, начавшие зарастать иван-чаем песчаные бугры... Но это что? Неужели глухари?!!

Да! По песчаным буграм степенно расхаживали высокородные «бояре» таёжного царства – глухари! Их родовые корни, так же как и кедра, стерляди, осетра уходят в глубь геологических эпох!

Птицы, по всему, нас не боялись, но дистанцию метров в двадцать держали чётко: бережённому Бог бережёт! Из-за постоянных перемещений сосчитать их было морочно, но десятка два их было – точно!

«Вот лет через «цать» высосут люди всю нефть из сибирских недр, уйдут или улетят... И будет по всей Сибири вот такая картина... Лес-то будет: осинник тот же, березняк, тальник на худой конец... А вот с живностью – как? Будет ли? Здесь-то чё! А вот там, где Самотлор, Покачи? Как думаешь?» – уже в вертолёте, под рёв турбин, пытал меня мой попутчик.

Я взял у него несколько «галечек» в шоколаде, попытался их разжевать,



но орешки скользили и не давались, и я решил проглотить их целиком – по-глухариному, но поперхнулся...

Я стал думать над вопросом, который задал мне друг.

Но думать мешала тряска.

«Зайка, зайка, потруси!» – орали турбины.

«Зайка, зайка, потруси!» – выговаривал мандражный пол, дюралевые переборки, сиденье...

«Зайка, зайка, потруси!» – выговаривала дефицитная мелочёвка, найденная на старой буровой.

«Надо хоть вышку уронить, – подумал я, пытаюсь отделаться от навязчивых «заек», – а то, в самом деле, как летучий голландец...»

Мишка и Машка

В конце апреля на одной из буровых на Лабазной площади (ныне Пермь-Ковское месторождение) увидел непорядок: сквозь крышу балка-сушилки «просло» сучкастое дерево.

– Че-эт придумали, а?

– А гляньте! – хохотнул мастер.

– Ну и гляну!..

С весеннего солнца в сушилке я не сразу заметил пару шевелящихся, как мне показалось вначале, рукавиц-меховушек. «Да это ж медвежата!» – обомлел я. Не обращая на меня никакого внимания, они, как гуттаперчевые паучки, сновали по скамейкам и полкам сушилки, вылезали по дереву наружу, забавно ворча и посапывая.

Их миниатюрность и подвижность меня умилили, я решил приласкать сразу обеих сироток: погладить. Хорошо, что я поспешил с проявлением чувств и не снял кожаных перчаток.

Едва я коснулся пушистых спинок этих притягательных крошек, их «гуттаперчевые» лапки бритвенно острыми коготками мгновенно рассекли мои перчатки. (Это был подарок жены. Пришлось сказать, что потерял. И только сейчас признаюсь – какая судьба их постигла на самом деле!).

Вторично с одним из медвежат я встретился в июне. Буровая бригада к тому времени скважину закончила и перебиралась на другую точку. Пролётом с Кыс-Ёгана, я остался у них ненадолго. Замешкавшись, сел в доверху забитый имуществом бригады вертолёт в последний момент. Когда приземлились на новой буровой, едва бортмеханик отодвинул дверь салона в сторону, из вертолёта, не дожидаясь пока навесят лесенку, вылетело наружу что-то наподобие чёрной молнии! (Мне так показалось!). Пару секунд – чёрная шаровая молния, прокатившись по торфянику, взмыла невесомо на одинокое сухое дерево, стоявшее на берегу небольшого круглого, словно блюдце из майолики, озера.

«Ничего себе «рукавица-меховушка!» – подивился я.



Да, это уж была не « меховая рукавица »! Это была, размером с привычного диванного плюшевого Мишку, – Машка, симпатичная, забавная, всеобщая, до поры до времени любимица. Оказалось, брата её, Мишку, отдали капитану рейсового теплохода, а Машкиной хозяйкой стала повариха бригады.

Жила Машка вольно... И только когда навела однажды шмон в продуктовом складе, оказалась на цепи. Тросика, по которому скользит цепь, буровики не пожалели, и жизненного пространства у Машки было достаточно. Но всё равно: на людских глазах, не больно-то спрячешься! А люди – разные! Одни придут поглазеть на её цирковые номера да подразнить. А другие зато – с баночкой сгущёнки или концентрированного молока, сахарку кинут, рыбкой угостят, конфеткой, кедровым орешком... Но сгущёнка – лучше её нет: слаще материнской титьки! Поймает она банку, завалится на спину, вскроет доньшко когтями и сосёт, и причмокивает до тех пор, пока банку в гармошку не сожмёт.

По немецкой пословице вела себя с людьми Машка: « Ви цум мир, зо цум дир »! Одним позволяла чесать себя за ухом, а других подпускала только на длину цепи, у тех, кто забывался, штаны распускала на ленточки, да и мякоти порой прихватывала...

Да и жизнь, даже звериная, в сиротстве да в неволе, весёлая разве?..

Пухиня и Грэй

Однажды Пухиня окотилась. Всех котят раздали, с ней остались две сестрички-разношёрстки. Она их кормила, тщательно вылизывала и вскоре стала вытаскивать на улицу: погулять и погреться на солнышке.

Мы стали за них волноваться: что будет, если на них наскочит Грэй?

И вот мне довелось стать свидетелем этой встречи.

Бал жаркий июльский день. Над нашим посёлком стояла душная тишина. Только издалека доносился стрёкот вертолётá да глухой рокот речного теплохода. Войдя в прохладную тень подросших берёзок, густо посаженных мною вдоль штакетника, я остановился докурить сигарету. Облокотившись на прожилину забора, я бездумно смотрел в голубую высь неба сквозь зелёную мережу берёз. « Красиво и естественно: зелень и голубизна... Жара и прохлада, пахнувшая томлённым берёзовым листом... »

Благостное настроение спугнуло в момент громкое шипенье: будто на буровой лопнула самая большая пневматическая муфта! Только шип не в свист перешёл, а в низкое, вязкое вопль-урчание...

Резко обернувшись, я увидел Грэя, замершего у дальнего угла дома, на границе света и тени, а перед ним... серую рысь, испускавшую эти ужасные звуки...

« Да это же не рысь – Пухиня! »

Калейдоскопом промелькнули картинки: « Мявка на столбе... Лосинная мольга, легко размолотая Грэм... »



Пока шли команды от моего мозга: голосовому аппарату крикнуть: «Грэй, фу!», мышцам – начать движение, «рысь» метнулась к Грэю...

«Ну, всё! – подумалось. – Превратит он сейчас Пухиню в фарш и выплюнет. Какая жалость!»

Но Пухиня, как пушистый шар, как одуванчик, но упруго-прыгучий, мгновенно отскочила от Грэя в сторону и снова зашипела-завыла, а Грэй заскулил вдруг и мотая головой, как слепой котёнок, потерянно развернулся и потрусил по играющим под его тяжестью доскам тротуарчика за угол дома, потом он нырнул в дровяник, где у него было дневное лежбище, и до самого вечера не вылезал оттуда, горько и тихо поскуливая.

С тех пор, увидев Пухиню, независимо от расстояний до неё, Грэй разворачивался и обходил свои владения в противоположном направлении. Пухиня не нахальничала и освобождала его тропу. На углах своего маршрута Грэй на всякий случай притормаживал. До самого отъезда Грэя конфликтов с Пухиней больше не было: они мирно сосуществовали.

Когда Грэя увезли, Пухиня нет-нет да появлялась на его тропе, принохиваясь, и задумчиво замирала иногда с поднятой передней лапой, вертикально стоящим пушистым хвостом и повёрнутой в сторону улицы головой.

Какие кошачьи мысли и чувства занимали её в тот момент, какие испытывала она ощущения от тускнеющих с каждым разом запахов огромного соседа-зверя, определённого природой ей во враги? Никому это не ведомо: об этом можно только догадываться и фантазировать.

Мост

Наш б «д» располагался на первом этаже, в левом крыле десятой мэсэшэ, под кабинетом физики, на отшибе. От остальных классов нас отделяла лестничная клетка, буфет и библиотека. В буфет я не ходил, довольствовался куском хлеба: хлеб мне, после малышовского бесхлебья, ещё не приелся. А вот в библиотеке пасся жадно, истово, как корова, дорвавшись до клевера или озими. После того же малышовского бескнижья читал я в очереди, и по ночам под одеялом при свете фонарика, и, конечно, на переменах, а то и на уроках. Другие толклись в буфете, носились в длинном коридоре или во дворе, а я – спокойно читал, смакуя корочку сытного чёрного хлеба. Утолял я свой духовный голод жадно, но – бессистемно: читал или то, что предложит почтенная седая библиотекарьша, или что заинтригует своим названием или фамилией автора. Так однажды случайно попала мне книга "Мост" (автора уже не помню) про военных строителей-сапёров, – как они строили в послевоенной Германии мост и как подкармливали на своей полевой кухне немецкую детвору кашей, хлебом и тушонкой...

Была большая перемена. В классе был только я и Юрка Моряков, он тоже не ходил в буфет и перекусывал чем-нибудь своим.

Когда я дочитал до того места, где наши добросердечные солдаты потчуют немецких детей, мне вдруг стало так ужасно обидно за себя, что горячие слёзы вдруг потекли непрошено по моим щекам...

«Солдатики родные, где ж вы были, когда уже после Победы, в Малышовке, я загибался с голодухи? Я – наш, советский пацанёнок, сын погибшего от немецкой пули старшего лейтенанта Козлова Николая Фёдоровича... Я собирал вместе с классом колоски; хлебом, испечённым, может из этих колосков, вы угощали враженин, а я ел хлеб из лебеды, похожий на засохшие коровьи лепёшки... Весной мы пекли из собранной мёрзлой картошки крахмальные оладышки... Ели, не хуже телят, первую зелень: были натурально на подножном корму... Рахитисто пухли с пустых, из лебеды и крапивы, похлёбок...

И работали: всё немудрёное, хозяйство лежало на наших детских, плечах, – взрослые работали в колхозе за пустые трудодни. Мы вскапывали приусадебные сотки, сажали, пропалывали, окучивали, выкапывали картошку и ели её, родимую, без хлеба, случалось – и без соли и молока. Как душила нас тошнота, вставала комом горькая желчь от «хлеба» из лебеды и мякины... Как я тогда мечтал о ложке рассыпчатой, золотистой пшённой каши! Мерещилась мне прямо эта каша: в большой деревянной ложке!» И многое, многое другое было за этими горячими слезами...

«Витька, ты чё? Чё ты? – забеспокоился Юрка Моряков, тоже безотцовщина. – Яблоко хошь? Вот – ранет осенний. Последний съём,» – стеснительно вынул из кармана чёрной вельветовой куртки небольшое румяное яблочко и угловато протянул мне. Я не сразу ответил ему, глубоко вздохнув, сказал благодарно: «Спасибо. Это я так, ничё...»

Об этом случае я вспомнил через тридцать лет в Болгарии, на Солнечном Бреге. Там мы познакомились в ресторане «Ветряната мельница» с нашими ровесниками, немецкой четой из Кёльна, Куртом и Эрикой... Мы пришли вчетвером, свободных столиков не было, и нас подсадили к той парочке. Перед каждым из них стояло по бутылке, перед ним – красного, перед ней – белого сухого вина и бокалы, из закуски – даже конфеты не было! Заказывая ужин, мы – я с женой Галей и наш друг по Сургуту Олег Климов с женой Алюней, – с присущей сибирской ширью, – учли и наших соседей. Они не стали ломаться, и вскоре мы уже стали объясняться, вспомнив школьные занятия немецким (Курт и Эрика по-русски знали только "ИЛ-18, на котором они прилетели в Бургас и «Сибирь»). Пообщались мы с ними тем не менее до закрытия ресторана. Кое-что выяснили о них, а что они поняли о нас – неизвестно (когда я сказал, что Олег – «ойл-кённунг», Эрика так нахально стала клеиться к нему, по нашим понятиям, что Алюня не на шутку стала сердиться). Мы выяснили много интересного. Мы все работали в Главтюменьгеологии на инженерных должностях, но машин не имели. Даже в Болгарию нам не разрешили взять с собой 5-летнюю дочь. Обменяли нам на 18 дней всего 110 рублей. И в Болгарии были магазины типа нашей «Берёзки», в которых наши червонцы были не в ходу...

Курт работал один – мастером на сборочном заводе Фольксвагена. Эрика занималась домашним хозяйством. У них две машины: одна – будничная, вторая – более престижная, «представительская». У них двое детей: мальчику четыре года, дочке – год. Приехали они на две недели вместе с ними. Сейчас дети с нянькой – в отеле есть такая услуга. Обменяли им марок столько, сколько им потребовалось. Кроме того, им разрешено провозить марки, на которые они в Болгарии могут что угодно купить.

Неприятный осадок остался в душе, при сравнении всего этого. Хотя в то время Болгарию и считали ещё одной советской республикой, невольно вкрадывалось ощущение неполноценности, второсортности советского образа жизни. И уже хотелось задать вопрос – не «милым солдатикам», а нашим руководителям «партии и правительства»: «Ну почему?.. Почему всё так?... и т.д.»

Опять строим «мост» – в коммунизм. Опять подкармливаем чужую «детвору», забывая о своих страждущих...

Поделись с другом

В нефтеразведке ещё работали... Залетели раз с механиком на старую буровую посмотреть, как и что, и застряли: погода испортилась. Из жилья – один раздербанный балок. Жрать хочется, но особенно – курить. Механик в дизельной несколько провонявших соляжкой чинариков нашёл – покурили.

Курим, я подначиваю его: нарушают технику безопасности твои помазки. Он мне в пику: под навесом, у пульта бурильщика, полпачки «Примы» нашарил – твои буровики, злорадствует, не лучше. Это ещё ничего не значит, возражаю, это ж не окурки, курить-то они – во-он туда, в положенное место, уходили. Ну, ехидничает механик, верховой – тоже туда спускался? Вот на полатах-то, кстати, курево должно быть! Слазали, точно: початая пачка «Беломора»... Уже легче! Давим нары, изредка, когда уж невтерпеж, покуриваем. Анекдоты вспоминаем, всякие забавные случаи. На злобу дня потрепались. И, пока не задремали, про работу...

Встали рано, продрогшие, голодные, помятые... У механика – он жгучий «брунэт» – щетина вот такая: модная, как нынче говорят. Выглянули: как там насчёт погоды? Ничего утешительного! Ни по облачности, ни по видимости... Нелётная – и по трассе, и по квадратам.

Слоняемся по балку, как эки по камере. От нечего делать вздумалось мне шифоньер зачем-то двинуть... Тяжеленный: допотопный! Но я – парень упорный. Пыхтел-пыхтел, но передвинул и – чудо – пряник нашёл – как будто ради него и трудился! Аппетитный такой: в глазури! Слюнки потекли во рту... Но сдержался, великодушно протянул другу: «На! Кусай половину».

Друг взял пряник, «поел» его сначала глазами, а потом куснул... так куснул, что клык у него верхний скололся, – пряник-то так засох – каменный стал! Почти

что ископаемый!.. Что кусок керна!.. Сейчас чуть что, друг мне: «Не-е, давай ты первый...»

Кольца жизни

Середина сентября... Комфортная временная ниша между утром и днём: тепло, покойно, как у матери на коленях.

Работы по скважине закончили под утро. Пока бумаги оформляли, на связь выходили, то да сё – завтрак поспел, а там уж и на вертолётку надо: первый рейс обещали.

Полудремотное состояние – между сном и явью.

Голубая, сосущая даль... Купоросно-синяя высь... Тёмно-зелёное, с золотом и рдянцем, ближнее окаёмье...

Совсем близко – засохшая, искромсанная гусьянками, распаханная железом глинистая земля. На ней, тут и там, как поверженные роботы пришельцев, чернеют трактора, агрегаты, узлы бурового оборудования, контейнеры, сани, ёмкости, трубы костром, искорёженные перила, ограждения, бухты с тросом... Ещё ниже, крепостным валом, «засеками» – завалы: искромсанные стволы деревьев, пни, корни, кустарник, торф, глина.

На буровую можно попасть, без риска переломать ноги, только по двум взвозам. Не буровая – настоящая «засека» на краю Дикого поля: от печенегов, половцев, батыевских туменов...

В сторонке – не заметил, как подошли бурмастер с женой. Она улетаёт, он остаётся на заключительные работы. Она у него – мать-командирша. Его голос глухой, осенним дождиком, не разобрать, её – летний капельник, чистый, дробный: кап-кап-кап проникает в уши сквозь дрему: «... Я тебе точно говорю: медведь или рысь! Вон оттуда... Ночью, как зацементировали колонну, я пробы в балок понесла... А то я не знаю! Собаки под балком дрыхли... Обрато иду – уже нету. Медведь или рысь. Местные говорят: самый медвежий угол здесь. Ещё бы! Шиповника вон сколько, ягоды, орехи... Лога, осинники...»

(«Наверное, она права! Не по моим ли следам приходил гость?»)

О семейных делах разговор пошёл – я подался от них подальше, в сторону завала. Оглянулся: жилые балки, буровые сооружения слились с пятнисто-крапчатым фоном. И только вышка, словно потягиваясь после многотрудных перегрузок, чётко впечатывала свой силуэт в купоросно-синюю блёкнущую к северу высь.

Отгремела буровая... Тишина! Надолго ли? В разрезе – несколько нефтяных пластов, значит, скоро добытчики потянутся сюда.

Сон одолевает: на ходу сплю. Может, завалиться на солнышке, на пригорочке? Или в «мастерском» балке, в кровати, дремануть минут шестьсот? Да... Укатали Сивку горки! Прежде и по трое суток крутился, да так не морило... Годы, годы... Сегодня ни много, ни мало – полста! По мнению пифагорийцев – в по-

следний цикл вступаю! Как они мало жили! Или рано выросли? Младенец. Отрок. Юноша. Молодой человек. Мужчина. Пожилой мужчина. А после пятидесяти – старик!..

Громадный высокий пенёк... Значит, зимой валили. Могучий был кедр, не сразу дался: с трёх сторон подпиливали, полотно не хватало. Да так до сердцевины и не добрались: торчит из пня охапка золотистой лучины. Как в баре на стул забрался на пенёк, прислонился к упругой, занозистой сердцевине – лучинки прогнулись, мелодично затенькали. («Не на ЕГО ли место сел? Не его ли ГУСЛИ тронул?»)

Подрезал одну отщепинку: легошенькая, как перо, шелковистая на ощупь, в один годовой слой... Постругал – режется приятно, чисто. Ромбик получился. Словно из хорошего ватмана. Взял ручку, пейзажик набросал: край вертолётки, оборудование «на взлёте»... Ближний лес, просеку... Широкою, в виде раскрытой ладони, пойму ручья... Дальний, кудреватый, тёмно-синий лес... Прояснившуюся кромку горизонта и два тонюсеньких, в волосок, в нашу сторону и вверх, набухающих дымных веретешка – горящие факелы на соседнем месторождении! Ну – вот, что говорю? На подходе он – технический прогресс! Рядышком...

Пометил на рисунке раскраску пейзажа: изумрудно-зелёная, как озимь... кобальт фиолетовый с умброй... окись хрома... охра золотистая...

Раскрашу дома и подарю дочери – закладка в книгу будет хорошая.

Сколько, однако ж, ей лет, этой лучинушке? Ведь она почти из самой сердцевины...

Спрыгнул. Стал считать кольца жизни дерева...

На срезе платинового цвета годовые кольца выделялись чётко. Срез на этой высоте имел сглаженную пятиконечную форму: словно пятью рёбрами жёсткости подпирали когда-то ствол смолистые корни, по гиперболоиду отходя от него в землю... Считал кольца и сбивался... Наконец, дошёл до тёмной, мягкой, загадочной сердцевинки: сто сорок шесть колец!

1842 год?.. Не может быть!

Полтора века тому назад белочка, бурундук или сойка распотрошили на этом месте кедровую шишку, и один орешек удачно упал в лесную подстилку... Полтора века тому назад проклюнулось ядрышко ореха, чтобы его детище свалила зимой этого года коптящая железка в насмешку названная «Дружбой»?

А моя разрисованная закладочка? Где-то около времён обороны Крыма наросла...

Что кедр?.. Вон ящики с керном. На керне – тоже свои «годовые» кольца, свои полоски... Да, геологический разрез – тот же срез... Земной коры. Только «кольца жизни» там – на тысячи и миллионы лет!!

Что в сравненье с этим – наша жизнь?..

Полвека – пятьдесят годовых колец...

Мои кольца жизни... Да и что они представляют из себя? Свалят. Или сам свалюсь – кто их посчитает?..

А ведь третьего дня пятьдесят первое колечко могло и не начаться... Третьего дня выдалось у меня полдня свободного. Объяснили мне, как пройти к речке таёжной: рядышком, километров пяток по профилю и чуток по гриве. Сопрел, пока дошёл, зато и вознаграждён был: красотища! Чистая тихая речка среди таёжных осенних берегов в ясный день бабьего лета. Пока искал красную смородину – из-за неё и предпринял вояж: решил мичуринцем стать? – набрал целый пакет крупного алого шиповника – было его тьма-тьмущая. Рослые кусты были сплошь усеяны отборными продолговатыми плодами: спелыми, но не размякшими, а крепкими, гладкими, которые и собирать было не в тягость, а в радость. Удивляло только, что в некоторых местах ягоды были взяты только с вершинок – будто кто комбайном их пообсекал. «Торопились, что ли? Как на ходу, мимоходом, брали...»

Наконец, нашёл смородинные заросли. Выбрал несколько подходящих побегов, попутно набрал несколько жменей переспевшей, слатимой чёрной смородины – в самом низу, красной – ни ягодки не попало. Надо было набрать воды, чтоб саженцы не засохли: жарко всё ж! В излучке нашёл прогалинку, спустился к воде. Райский уголок! В заустенье даже лёгкого ветерка нету. Снял сапоги, разделся по пояс. Постелил куртку на изумрудно-зелёную осоководную траву, ноги – к урезу воды. В зеркально-чёрной воде один к одному отражается хвойно-рябино-берёзовый противоположный берег. Глянешь вверх – сквозь золотисто-зелёную мережу вершин притягивает взгляд тающая синева неба... Поистине: «Синь, сосущая глаза!» Точнее не скажешь. Разомлел... Может, и уснул бы – да сентябрьская тень быстро движется!

С сожалением покидал этот райский уголок, но – время поджимало! Чтобы сэкономить время, решил идти не вдоль реки, а подрезать: пройти по болотине вдоль подошвы гривы. По кочкарнику было трудно идти, и всё свое внимание я сосредоточил на выборе пути, по сторонам не оглядывался, прыгал с кочки на кочку... Слева у меня была заваленная буреломом подошва гривы, по правую руку, до самой речки, мелкий чапыжник с шиповниковыми зарослями. Я уже проходил болотину, когда сзади справа кто-то рявкнул, и с чавканьем, мягко-тяжело, так, что я почувствовал колебание кочки, на которой замер, побежал или, вернее, намётом помчал... Я обернулся, но медведь уже скрылся в мелколесье, откуда я шёл, и временами было видно сквозь заросли колеблющееся тёмное пятно.

Я вытер испарину со лба и, любопытствуя, вернулся метров на десять назад... В огромных медвежьих следах распрямлялась примятая трава, пузырьясь, уходила вода. Шёл парок от медвежьих экскрементов с непереваренным семенем шиповника. Зашёл я и в медвежье уголье: плоды сняты только с верхушек! Видно, лапой обсмывивал Мишка кусты: лень ему по яголке собирать! А шиповниковые колючки для его ладошки – ерунда!

По берегу я шёл с подветренной стороны, а возвращаясь, на болотине, неожиданно и близко оказался с наветренной, вот и испугал Мишку. Впрочем, кого больше – надо посмотреть! А вот вышел бы он, когда я в заустенье раздетый

релаксировал: что было бы?... Да, нет: он сейчас сытый, добродушный... Тоже, поди, свои кольца жизни считает. Вот если весной, не приведи Господи, встретится, тогда будет другой коленкор...

Всю обратную дорогу я шёл настороже, и при малейшем подозрительном шуме по коже пробегали противные мурашки: какая бы ни была она, жизнь, а хочется, ой, как хочется крутить и крутить, словно хула-хуп, всё новые и новые кольца жизни...

А вот и вертолёт: маленький, глазастый, как стрекоза, МИ-2.

Летим низко: как на ладони – сентябрьская тайга.

Гривы, болота, сора... На старых вырубках, густые, волосяными щётками, осинники и березняки... Бобровыми шкурками, с проседью: в опушке берёз хвойные массивы... И там-там-там, словно охряной кистью по зелёной грунтовке, берёзы, лиственки... Осень!

Пятнисто-крапчатая тайга –

в манере импрессионистов...

Как паутина, в небе мгlistом, –

не на лосиных ли рогах? –

Мерцает лёгкий алюминий...

"Железка" узкою лыжнёй

блестит на солнце, к гривам льнёт

и исчезает в дымке синей...

В душе томленье и печаль.

Сомненья сердце рвут на части...

Не обернётся ль это счастьем,

едва-едва ушедши в даль?

И вспомню я о приземленье –

без сожаленья! – в День осенний...

Рассказы людей разных поколений о некоторых эпизодах своего детства

Славельщик

(рассказ прадеда Ивана)

Деревушка у нас маленькая была, как и прочие. По соседству – дворов пятнадцать. Так мужики на праздник, на масленицу, к примеру, али Покров, сначала в одной деревне погуляют, потом говорят: «Айда к нам!» – поехали в соседнюю... Ну и мы, пацанята, по их примеру так же ходили по другим деревушкам славить под Рождество али на святки, благо рядышком: верста-две... Рано ходили, в темноте: часов в пять...

Я однажды попал к кулаку, как их позже называли, знакомцу отца, к Максиму Ионычу...

Темно ещё было... У них – печь топится: дым столбом, окна светятся... Стучу в ворота, а он спрашивает: «Кто там?»

«Пославить, – спрашиваю, – у вас, Максим Ионыч, можно?»

«Заходи! – говорит. – Славь!»

А у него ещё три зажиточных мужика сидели: выпивали, видно.

Пославил я. Он мне десять копеек – гривенник по-тогдашнему – даёт и... стакан пива домашнего: «Пей, – говорит, – славельщик!»

Выпил я ... В голове зашумело!.. Хозяйка как раз кусок пирога даёт. Пирог мясной, запашистый. Съел я его, чувствую: в желудке плотно лег, сытно стало. А в голове шумит: на голодный желудок пиво-то выпил...

А Максим Ионович смеётся: «Славь ещё – ещё гривенник дам!»

По тем временам десять копеек – это деньги были! На десять копеек можно было мануфактуры на рубаху купить, я это знал.

Пославил я ещё раз, он мне в одну руку – гривенник, в другую – кружку пива, жена – кусок пирога. Пиво я выпил, а пирог в сумку сунул – сумка за спиной была, холщовая, на лямке.

С пива я совсем захмелел. Уходить уж собрался. А Максим Ионович спрашивает: «Ты, славильщик, чей будешь?» – «Фёдора Яковлевича, – говорю, – из Кричихи!» – «А-а, знаю, знаю... Ну, славь ещё – ещё дам!»

Протараторил я колядку в третий раз...

Выпил и третью кружку пива, положил ещё кусок пирога в сумку, а третий гривенник – за щёку и – пошёл...

Дом у них большой был, из двух половин: в одной – жили, а в другой – что-то вроде амбара или лавки было, а между ними – общие сени.

В сенях-то я и заплутал: вместо улицы попал в амбар! А в амбаре споткнулся



и нырнул в ларь с мукой... Плююсь, сучу ногами, а выбраться не могу! Испугался, и кричать стал. Спасибо, жена Максима Ионыча прибежала, вытащила меня из ларя и – в избу...

Как хозяин с гостями меня увидели, смехом зашлись... «Ну-ка, – говорят, – в таком-то виде – пославь! Рубиль дадим!»

Я чё – глупый был, хоть и в первом классе учился... Муку с лица соскрёб, глаза продрал кое-как и спел ещё: рублевики, я знал, на дороге не валяются!

Спел я, а сам качаюсь, подташнивает меня, голова кружится...

Мужики ржут... Хозяйка на них ругаться начала: «Ироды проклятые! Спойли мальчонку!.. Как он теперь домой доберётся?..»

«А никак! – говорит Максим Ионыч. – Я его счас отвезу!»

Запряг он лошадей и – аллё! – в нашу деревню!

Рассвело уже.

«Фёдор Яковлевич! – стучится к нам Максим Ионыч. – Славельщиков можешь принять?»

«А как же! – польщёно говорит отец. – С нашим удовольствием! Заходи, Максим Ионыч, гостем будешь!»

«Да я не один...» – говорит тот.

«Ванька, никак?.. Ох, холера моровая!..» – схватил меня отец за шиворот и – в дом...

Посидели отец с Максимом Ионычем, тот ему и говорит: «Поехали теперь ко мне, Фёдор Яковлевич!»

Уехали они. Мать меня вымыла – лицо и волосы, и я уснул...

Проснулся – отца ещё из гостей нету. Кричу матери: «Мам, мам! А знаешь, сколько я наславил: и пирогов, и ...»

«Да Марфа со Стёпкой и Марьей съели твои пироги уже... пока ты спал...» – со вздохом сказала мать.

Мне, конечно, обидно стало, что мне они не оставили ничего – да ладно! «Мам, – говорю, – мам! Я ж, – говорю, – денег сколько наславил: целый рупь тридцать! Вот!» - и даю ей...

Пошла она в лавку и купила всем обновы: кому мануфактуры на рубашки и штаны, кому – на сарафан да на кофточку. Да еще гривенник дала на конфеты для всех!

После этого Максим Ионыч часто призывал меня к себе на помощь. В июне, перед Троицей, развозили у нас навоз на поля. Вот он приходит к отцу: «Фёдор Яковлевич, дай мне «славельщика» на недельку: больно он лошадей любит!..» – так он меня и звал "славельщиком"... Вот и на навозе – всем платил по десять копеек, а мне – пятиалтынный! А если в другой деревне работали, то – двугривенный! Поработаю дней десять – полтора, а то и два рубля в кармане! Всё подмога семье...

Хороший он мужик был. Всё время хлеба давал займы. Отец потом отдавал деньгами или после нового урожая.

Семья у нас большая была, а я – старший. С шести лет отцу помогал: боронил... Посадит отец меня на лошадь и – правь, Ванятка, боронуй пашню! А время раннее: часов в пять утра. Укачает меня, сморюсь я и – кувырк на пашню!.. Ладно, кобыла у нас была хорошая, спокойная, орловской породы: тут же остановится и ждёт, пока я, за шлею да за гриву цепляясь, не взберусь на неё; а как заберусь, мотнёт головой и пойдёт... Сама всё знала. Отец иногда уйдёт, и долго нету его, а она – проголодается: тут уж её ничем не удержишь: замотает головой и – домой... Я кричу благим матом, матерюсь – умел уже, хотя и оглядывался: не слышит ли кто? – не помогает! Подъезжаем к дому, отец уж выходит: «Слышу, слышу: бороновальщик орёт, значит кормить пора...»

Так с малолетства втягивался я в посильный труд, учился управляться с лошадьми... Годам к одиннадцати во всю сено косил, жал хлеб. И даже вот у Максима Ионыча батрачил мальчонкой ещё.

Было это году в двенадцатом-тринадцатом, перед войной, которую потом назовут первой мировой, а, когда шла, называли германской...

А Максима Ионыча при советской власти раскулачили... В тридцатом году... Я тогда уже отслужил в Балтфлоте. Был в комиссии по раскулачиванию...

«Пославили» мы тогда, получается, у Максима Ионыча ещё разок...

Про отцовские страхи

(рассказ прадеда Ивана)

С раннего детства полюбил я рыбалку. Рыбачил я добычливо. На покосе отец иногда сам посылал меня поудить в Чёрном яру: «Проку от тебя больше будет, если на щербу наловишь!» – напутствовал он.

Вот как-то наловил я подустов, штук десять принёс. Мать уху из них варить собралась. А мне охота ещё порыбалить. Но уже смеркается, один идти боюсь. Зову отца: «Тятка, айда!» Хотя знаю, что он – воды боится, как огня. Ну он, под разными предложениями, отказывается: еле уговорил!

Пришли мы к Чёному яру. Берег там чёрный, торфяной. Сумрачно там как-то. Омуты зато глыбкие: мерили – пары вожжей местами до дна не хватает, во!

Клёв хороший! Окуней таскаем, подустов. Я уже полведра надёргал, а отец – чуть-чуть: в тёмные места заходить боится, по освещённому берегу ходит.

Тут щука заходила, за мелочью стала гоняться: те с шорохом от неё веером разбегаются – словно гальку горстями кто бросает...

Гонялась она, гонялась да просчиталась – на берег выскочила и замерла от неожиданности: где это, мол, я?..

Я, прямо с обрыва, не раздумывая, плюхнулся на неё!

«Тятка! – кричу, – тятка!.. Щука!..»

А отец совсем испугался, бежать собрался: «Ванятка! – кричит, – брось её! Ванька, нечистая сила это! Бросай!» – кричит издали.



«Щука это! – кричу я. – Щука это, тятка!» – и сам карабкаюсь наверх.

А отец советует, так и не подходя: «Ванька, ты посмотри – не моргает ли она?»

Я уже выбрался из-под обрыва и бросил щуку на траву и она затрепыхалась. Отец посмотрел на неё – и впрямь щука! Тогда он взял её в руки и сломал ей хребет. И стал сматывать удочку. «Айда! – позвал меня. – Сумеречно уж: мать, поди, одна – забоится! Да и щерба, верно, поспела...»

Клёв ещё продолжался, неохота было уходить. И одному оставаться было боязно. И я тоже стал сматывать свою уду.

Рассказал я матери про рыбалку, про щуку; мать смеётся: «Трус у вас тятка: воды боится! Уж лучше мы с тобой в следующий разходим...»

А ещё тятка боялся бани... Так вот ничего не боялся, а воды открытой: в реке, озере, и бани – панически боялся...

В бане он не мог находиться один: ему нужно было, чтобы рядом, хоть в предбаннике, пока он моется или парится, должна быть живая душа. Неважно, взрослый это или ребенок. Присутствие этой «живой души» он постоянно проверял: моется-парится и нет-нет да окликнет, и, не дай Бог, не получить отклика – тут же выскакивал на воздух в чём мать родила...

А парился он здорово! Такого пару наподдаёт – дыхнуть нельзя...

Мы ходили первыми: в сухой жар. А он с младшим, со Стёпкой: вымоет его, выставит в предбанник и накажет ему откликаться, когда он голос подаёт, и не вздумать отлучаться ни на минуту.

И начинает мыться-париться... Парится-парится и кричит в предбанник: «Стёпка, подлец, ты здесь?» Стёпка отзывается: «Здесь я, тятенька, здесь!» – «Ну, стервец, жди-жди! Я ещё малость попарюсь...» – «Парься, тятенька, парься! Я подожду...» – отвечает тот.

А когда отец войдёт в раж – застонет от веника и жаркого пара, как во сне или с похмелья, Степка шеметом срывается иногда со своего поста и говорит Марфе: «Хочешь посмотреть – как тятка голый счас прибежит? Смотри!» – а сам на палати подальше шмыгнёт...

Тут и отец – взаправду голышом! – бежит и ругается: «Где Стёпка, стервец этакий! Попадётся, голову стервцу оторву: опять убёг!»

Ну, мать смеётся: провожает его в баню сама...

А так – в лесу или хоть где, в ночь-полночь – работал, не боялся... В двух войнах воевал не хуже других, а вот открытой воды и одиночества банного – пугался больше, чем другой малец темноты...

Туды-сюды – куркам пир (рассказ прабабки Веры)

Я была самой младшей в семье: последыш! Говорят, хорошо последышу живётся: всё – ему! Так-то оно так да не всегда. Нинка вот у нас – тоже последыш. Вы-то – что Лена, что Вовка, что ты – разлетелись в разные стороны, а я – у Нинки всё... Спроси: легко ли ей, последышу?..

Отцу, Григорию Васильичу Кутлину и Прасковье Ефимовне, матери, Бог давал одних только девок! В живых-то нас осталось только трое: Аганя, Мария да я. Остальных сестёр Бог прибирал к себе в ангельском возрасте. Поэтому разница в возрасте у нас с Аганей была большая. Когда у неё пошли дети, мне только пора была идти в школу, да не пришлось: стала я нянькой! А учиться хотелось! Как уж я упрашивала своего тятеньку!.. И крёстный, Пётр Алексеич, уговаривал отца: «Григорий Васильич, не бери грех на душу: пусти девчонку в школу! Тем более, раз желание имеется: других вон – и хворостиной не загонишь!» Нет, не пустил тятенька, не тем будь помянут! Прости его, Господи! Так и осталась я неграмотной и тёмной... Но себе дала зарок: уж своих-то деток, если Бог даст, обязательно выучить во что бы то ни стало! И, слава Богу, со своей стороны, считаю, что этот зарок выполнила! Принуждать вас к учёбе не принуждала, но, как могла, способствовала...

Мы, когда на родину-т вернулись, в Малышовку, старшие-т, Лена с Вовкой, посмеивались над моими слезами: «Слушай: соловьи поют, лягушки квакают!.. Всё, как ты говорила!» А ведь я, считай, в Сибирь-то, совсем девчонкой попала. И не по своей воле...

Вот вы говорите: революция была! Да ещё всякие другие слова: великая да – не выговоришь: какая-то ещё, а вы – видели её? А я – видела: переворот был! Мне уже 12 лет было, всё помню! Кругом сплошной бандитизм был! Красные, белые, зелёные... Одни придут – грабят, придут другие – экспро... тьфу! язык сломаешь!.. тоже разбойничают, одним словом.

В Малышовке-т – много ли пасек осталось, вспомни? У одного Петра Лексича, крёстного! У единоличника! Хоть и душат его налогом, но он выжил. А раньше, когда я была в девчонках, у каждого третьего малышовца были даданы – улья круглые из вязовых стволов! Кругом-то леса липовые! Пчёл не держать – грешно было! Была пасека и у тятеньки Григорья Васильича: десятка два даданов и омшанник для хранения их зимой...

Мёд был большим подспорьем в хозяйстве. В царское время на девок паи на землю не выделялись. Поэтому с землицей у отца было туго. Но до переворота как-то он выкручивался – хозяйство было справное. Полон двор скотины: корова, нетель, овцы, куры, гуси и лошадь, конечно...

Потом началось...

Первый раз пришли красные: излишки под чистую замели! Другой раз –

красные тоже, но – другие: в омшаннике все даданы перевернули, забрали весь мёд, который пчёлам для прокорма, и всех пчёл поморозили! Как их просили не трогать пчёл: кормилицы ведь! Куда...

Белые пришли... Помню: я сидела на сундуке с холстами... Раньше ведь всё своё было: лён, коноплю сеяли, мяли, прядли, ткали, выбеливали... Холсты – в сундуки с приданным чуть не сызмала запасали! Вот меня эти бандюги с сундука столкнули – я упала, локоть зашибла: кровь потекла... Они шлерки у сундука штыком подковырнули, достали холсты и давай их полосовать! На завертки. А холст – тонкий, альняной, выбеленный... Хорошо, офицер ихний вошёл. Увидел меня, спрашивает: «Чего ревешь, девочка?» Обсказала я ему всё. «А узнаешь их?» – спрашивает. – «А вон они, шестеро, во дворе сидят», – говорю. Он приказал им: «Всё возвернуть!»

А куды теперича их куски – на утирки разве что...

Жена крёстного, Петра Алексеича, тоже своё выревела: ничё, сказала, у тебя сестра Маша вышивает хорошо, на рушники пойдёт!

Так ведь не все у этих бандюг командиры были такими...

Тятенька-то у нас уже старенький был, его и обижали все, кому не лень. Зиновья Анчутина, сестра ведь его, шутку такую с ним сыграла... Собрался он рожь смолоть. Зерно-то тода уже прятали, но молоть-то надо было! Вот он насыпал воз, укрыл его как следоват. А сам отвлёкся на какое-то время. Так тетка Зиновья воз-то раскрыла и коров выпустила... Те, знамо, обожрались и сдохли...

Да... Чего только не было в жизни! Вас вот у меня четверо в живых осталось, а ведь двоих Бог в младенчестве прибрал! Да ещё две племянницы прошли через мои руки...

С каждым из вас случались всякие казусы, но мне хлопот доставляла больше всего первая племяшка – Зинка!

Я, конечно, тогда сама была ещё от горшка два вершка, и за самой нужон был глаз да глаз, но Зинка была – озора из озор, только начав ползать. А уж когда встала на ноги – упасти её было невозможно!

Года в три – что она учудила...

В деревенских избах внутренних замков сроду не врезали – двери закрывались навесным замком, а чаще – обходились просто затычкой: нет, мол, хозяев дома!

А изнутри запирались на крючок. В двери – петля металлическая (пробой), а на косяке крепился сам крючок. Крючок обычно при дверном хлопке раскачивался и мелодично позвякивал. И для мальцов было обычной забавой – крутить этот кованый крючок: ударяясь о пробой, он издавал чистый звук.

И вот однажды, оставшись в избе на короткое время одна, Зина закрылась на крючок... А вот открыть его не могла: рост не позволял!

Всё бы ничего, да была зима... И пришлось долго возиться с пробоем. А когда вошли и стали Зину ругать, она лопотала на своем языке, оправдываясь: «Туды-сюды – куркам пир! Туды-сюды – куркам пир!»



Зима не прошла ещё, куда-то пропал котёнок. Звали его, звали – не откликается! Может, выбежал на улицу? По всем кладовкам, амбарам обыскались, в погребке проверили – нету!

Подключилась к поискам и Зина: тянет мать к кадушке с квасом, который не переводился в деревенских семьях в те времена. Аганя отмахивается от неё: кадка стоит в закутке, плотно закрыта крышкой. Дочь показывает на кадушку и лопочет: «Мама, кыса да газа! Кыса да газа!..»

Глянули в кадку – котенок там! Шерсть еще не облезла, но глаза уже по-линяли...

Имела ли отношение к его утоплению Зина, выяснять не стали.

В войну она перенесла оккупацию в Житомире, потом переехала в Белорецк к Агане... У неё дочка: говорят, от немца прижила. Вот она – жизнь...

Голуби и мальчик

Жила-была одна голубка. Она была очень одинока. И от этого ей было очень грустно.

У неё болело крылышко, которое ей подбил один мальчик из рогатки. Она страдала, а он хвастался перед другими ребятами: «Вот какой я меткий! Я – настоящий Робин Гуд!»

Поскольку она не могла летать, жилось ей очень трудно. На каждом шагу её подстерегали опасности. Её мог задушить злой пушистый кот, уже однажды неслышно подкрадывавшийся к ней, или растерзать могла лохматая собака с огромными клыками. Мог вонзиться в неё острыми когтями и летающий разбойник – коршун...

Но время лечит: зажило крылышко у голубки. Снова она стала летать, и её потянуло к другим голубям. Они вместе кружились в ясном небе, радовались тёплым солнечным лучам, слетались на площадь у фонтана, где их угощали разными вкусными вещами добрые люди.

Здесь же, у фонтана, она познакомилась с одним сизым голубочком. Они подружились и стали проводить всё время вместе... И вскоре решили завести птенцов. Но для этого нужно было решить, где птенцов выводить?

В поисках подходящего места они облетали все окрестности. Им понравился уголок в лоджии на восьмом этаже: она выходила на юг, была в заветрии и на ней не появлялись ни люди, ни домашние звери. И, что немаловажно, рядом была площадь, на которой подкармливали голубей добрые люди.

И пара голубей поселилась в этой лоджии...

По сказочному стечению обстоятельств, лоджия эта была частью квартиры, в которой как раз и жил мальчик, стрелявший из рогатки в голубку и повредивший ей крыло!

Мальчик только что выписался из больницы, где он долгое время лежал со

сломанной ногой. У него был открытый перелом голени, который произошёл при неудачном падении с велосипеда. А упал он из-за того, что не заметил неприкрытый канализационный люк, когда с приятелями гоняли на великах по двору.

Дома он проснулся рано. Было уже светло, но родители ещё спали. Лежал он головой к стене, выходявшей на лоджию. В доме было тихо. Доносился эпизодически шум машин и хлопанье дверец: это в продуктовый магазин на первом этаже завозили товары. Слышен был приглушённый звук работающего там же вентилятора. И был ещё какой-то новый шум, даже не шум, а – мелодия: новая, необычная, нежная, воркующая, завораживающая... Напоминала она ему и журчание ручья, было в ней и что-то от шума дождя, но больше всего она напоминала ему материнское полусонное пенье-бормотанье, когда он был ещё совсем крошкой: «Спи, спи, мужичок, моя детынька...»

И он сладко-сладко уснул и спал чуть не до двенадцати дня...

Нога его совсем не беспокоила. Днём он вышел на лоджию и увидел в уголке некое подобие гнезда, а в нём – два беловатых небольших яйца. Он знал от бабушки, что птичьи яйца трогать нельзя, иначе птицы их не будут насиживать. А ему очень хотелось подержать яйца в руках. Но он удержался от соблазна, и понял – что за звуки слышались ему рано утром: то было голубиное воркованье!

Он решил приготовить голубям еду и питье. В крышку от обувной коробки он раскрошил чёрствую булочку, добавил творогу, несколько ломтиков сыра. Хотел принести молока в блюдце, потом передумал и принёс воды в миске. И, довольный, сел и стал ждать прилёта «наших», как он их уже звал про себя, голубей, наблюдая за яйцами через окно из комнаты.

Вдруг он хлопнул себя по лбу: «Вот тетеря! Птицы же пшено должны любить! Пойду-ка на кухне поищу!» – и он ушёл со своего поста. А когда вернулся с кульком крупы, увидел как из лоджии вылетели два голубя. «Куда же вы? – крикнул мальчик. – Я ж вам пшена принёс!» Но они улетели.

Он вошёл в лоджию: оба яйца были на месте, а хлебных крошек и остальных припасов стало меньше! Да и воды в миске поубавилось! «Значит, они ещё вернутся!» – подумал мальчик и ему стало весело. И он стал заниматься с хорошим настроением нелюбимым делом, которое постоянно по различным причинам откладывал: развивать технику чтения...

На следующий день он снова слушал ранним утром мелодичное и волнующее, теперь он уже знал – голубиное воркование, и снова уснул сладко-пресладко, и нога его снова совсем не беспокоила. А когда он вошёл на лоджию, чтобы добавить корма и воды, он увидел, что яиц в гнезде было уже три. Правда, ему не понравилось, что около гнезда и на перилах лоджии было много голубиных какашек или, как говорят взрослые, птичьего помёта. И ему пришлось заняться уборкой.

Через несколько дней при его появлении на лоджии голубка осталась сидеть на яйцах, только в её взгляде, как ему показалось, было что-то умоляющее. И он понял, что она уже высидивает яйца и скоро у неё появятся голубята!

«Я только добавлю вам еды и воды и уйду...» – почему-то шёпотом сказал он и осторожно вышел из лоджии.

Однако, увидеть голубят мальчику так и не удалось: соседка снизу пожаловалась в жилконтору на его родителей, что они разводят на своей лоджии диких голубей при полной антисанитарии и т.п. Отцу пригрозили штрафом, и он вышвырнул в мусоропровод картонку, подобие голубиногo гнезда вместе с яйцами и даже миску. А заплакавшему сыну сказал: «Нечего нюни распускать! Всю лоджию загадили! Придётся застеклить, а то будут летать, как домой: привадили...»

Мальчик после этого стал ходить к фонтану, где добрые люди, меняясь, с утра до позднего вечера подкармливали диких голубей. Он также, как и они, крошил хлеб или сыпал крупу и, приговаривая: «Гули-гули-гули!..», пытался определить, где «наша» парочка? Но они казались, как китайцы, все на одно лицо...

Содержание

Чернушка	4
Овладение дедукцией	
<i>Башкирские лапти</i>	17
<i>Башкирские лыжи</i>	22
НЛО, НХО и другие объекты	26
Осенние виражи	32
Родничок	36
С попутным ветром	36
Экскурсия	38
Стрижка под машинку	44
Запах мерзлого белья	49
Н-нга	51
Пёстрый	54
На лесном пожаре	59
Мартын	61
Белочка с пригревочка	65
Пестуны	68
Грей	71
Русик и Мявка	74
Тьётя	77
Сёмка	81
Ванька-крыс	83
Пухиня	86
Русик	88
Ласка, Берта и Балбес	93
Зайка, зайка, потруси	97
Мишка и Машка	99
Пухиня и Грей	101
Мост	103
Поделись с другом	105
Кольца жизни	106
Рассказы людей разных поколений о некоторых эпизодах своего детства	
Славельщик (рассказ прадеда Ивана)	110
Про отцовские страхи (рассказ прадеда Ивана)	113
Туды-сюды куркампир (рассказ прабабки Веры)	116
Голуби и мальчик	119

Виктор Козлов

Ласка, Берта и Балбес

рис. Е. Степановой



097167007

Регион ЦБ-КО

Подписано в печать 12.12.2018 г.
Формат 62x94/8. Бумага мелованная 115 г/кв. м
Гарнитура Minion Pro
Тираж 500 экз. Заказ № 2163/18

АО «Тюменский дом печати»
625002, г. Тюмень, ул. Осипенко, 81
Тел. (3452) 56-56-50

1р00к

